

ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ



Александр

ПРОХАНОВ

ГИБЕЛЬ КРАСНЫХ БОГОВ



Александр Проханов
Гибель красных богов

«ЭКСМО»

1991-2002

Проханов А. А.

Гибель красных богов / А. А. Проханов — «Эксмо», 1991-2002

Офицер внешней разведки Виктор Белосельцев, прошедший сквозь пламя военных конфликтов Афганистана, Намибии, Кампучии и Никарагуа, оказывается в эпицентре самого мучительного, рвущего его сердце и душу противостояния. Рушится величайшая империя – Советский Союз, страна стоит на пороге гражданской войны, армия и разведка стали самой желанной добычей в борьбе за власть. От Белосельцева, закаленного в горнилах локальных войн, вновь требуются титанические усилия и нечеловеческое напряжение воли, чтобы верно осмыслить происходящее и разумно повлиять на ход истории.

© Проханов А. А., 1991-2002

© Эксмо, 1991-2002

Содержание

Пролог	5
Часть I	32
Глава первая	32
Глава вторая	39
Глава третья	49
Глава четвертая	56
Глава пятая	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Александр Проханов

Гибель красных богов

Пролог

Говорящие дельфины

– Дорогой Виктор, ваша аналитика, ваш взгляд на противоборство политических центров изумительны. Но почему вы считаете эту борьбу мнимой? У вас эти два центра как бы сливаются в один...

Профессор Тэд Глейзер из «Рэнд корпорейшн» сидел напротив, положив пухлые, похожие на сэндвичи руки на листок бумаги, где им, Белосельцевым, минуту назад были начертаны стрелки, круги и овалы, имена политических деятелей, наименования союзов и групп. Мгновенный оттиск борьбы, разрушавшей монолит государства.

– Ведь два эти центра власти, – белый палец с розовым ногтем мягко ударил в бумагу, – находятся в постоянном конфликте, не так ли?

Толстая роговая оправка, прозрачные линзы, голубовато-влажные, в красных прожилках, в липких белых ресничках глаза профессора, как два моллюска в стеклянных колбах, чутко следят, пульсируют, откликаются на его жесты и мимику, поглощают энергию, одеваясь перламутровой слезной пленкой.

– Прошу, поясните, Виктор...

Белосельцев водил пером по листу, прочерчивая стрелы противоборства, круги и эллипсы, помещенные в них имена политических лидеров. Изображенная им социальная машина вращалась, двигала валы и колеса, расходовала запасы энергии. Ее элементы скрипели, искрились, роняли мертвые израсходованные детали, наращивали в своей глубине новые узлы и сцепления.

Один из двух Президентов – Первый, как нарек его Белосельцев, вел изнурительный бой со Вторым. Первый все еще командовал армией, оставался лидером партии, управлял экономикой, был хозяином разведки. Но угрюмые, таившиеся в недрах государства силы иссякали, дряхлели, подвергались распаду. Давили на легковесного целлулоидного лидера, побуждали действовать. А тот остатками слабой воли, лукавством, слабеющими рычагами власти удерживал их в неподвижности. Вмороженные в монолит государства структуры, как ржавые двутавры, бездействовали. Люди структур, военные, партийцы, разведчики – наполнялись ненавистью, тоской, чувствовали свою обреченность.

Второй, лишенный властных структур, не имея ни разведки, ни армии, был окружен молодым, рвущимся к власти сословием – богачами, дельцами, торговцами, либеральной прессой, профессорами и экспертами – кислотным, кипящим варевом, едко растворявшим в себе остатки омертвевших структур. В этом вареве мерцали идеи, всплывали проекты, планы реформ, присутствовали воля и жар.

– Вот здесь, в этой малой ячейке, соединенной с обоими враждующими центрами, таится разгадка процесса, – Белосельцев коснулся пером эллипса, заключавшего в себе надпись «Золоченая гостиная». – Здесь находится группа советников, обслуживающая одновременно Первого и Второго, управляющая мнимым конфликтом. На публике, на телеэкране оба Президента борются насмерть, но в «Золоченой гостиной», за общим столом, дружно сидят их советники и управляют марионетками.

Белосельцев не мог объяснить, почему узел, управляющий конфликтом, представляется ему высокой золоченой гостиной, с зеркалами и хрустальными люстрами. Мраморный высо-

кий камин. Часы в виде бронзовых, обнимающих циферблат купидонов. Длинный полированный стол из красного дерева. Вдоль стола на высоких стульях, откинувшись на гнутые спинки, в париках и мантиях, сидят советники. Из гостиной две инкрустированные резные двери ведут в две разные залы. Слышится шум, рев толпы. Среди вспышек и гула, в лучах прожекторов, на трибунах – два Президента. Вещают в народ, убеждают, обвиняют друг друга. Советники, как суфлеры, в тонкие трубки подсказывают им слова, гусиными перьями пишут записки, встряхивая париками, посылают к двум разным трибунам.

Он знал каждого из них, их стариковские сановные лица, скрюченные носы, брюзгливо сжатые губы, презрительно-умные взгляды. Склеротическими лиловыми жилками, тяжелыми перстнями на пальцах, одинаковым у всех выражением неуголенной плотоядности и чуткой прозорливости они были похожи на тех стариков, что наблюдали сквозь щелки за обнаженной Сюзанной. От них исходил запах туалетной воды и тлена, дух тайных стариковских пороков, болезней и порчей, которыми они отравляли воздух, заражали своих покровителей. Этот тлен и лиловые, проступавшие на их лицах пятна возникали повсюду, где они появлялись, губили всякую живую материю.

Своим сплоченным, тесным кружком они раскладывали общий пасьянс, составляли гороскопы на обоих Президентах, подшучивали над обоими, менялись местами, переходили от одного к другому. А те, на трибунах, осыпающие друг друга упреками, были связаны незримыми нитями. Управлялись из единой гостиной.

– Они играют единую партию, – повторил Белосельцев, сжимая глаза. – Virtuозность задачи в том, чтобы с минимальными тратами, не прибегая к гражданской войне, отобрать структуры у Первого и передать их Второму. Блокировать партию, перенацелить на Второго разведку и армию.

– И как же, по-вашему, осуществится эта игра с передачей разведки и армии? – Профессор Тэд Глейзер ласкал листок, касался пухлыми подушечками пальцев, будто читал на ощупь, исследовал каждую оставленную пером шероховатость, в которой мог укрываться закодированный смысл. Его глаза, увеличенные очками, как влажные голубые моллюски, вылезли из раковин, наблюдали Белосельцева, стараясь проникнуть в него.

Два заговора сплетались вокруг обоих, захваченных борьбой Президентах. Два тайных подкопа велись навстречу друг другу из двух половин враждующего общества. Открытая, видимая миру борьба в парламентах, на экранах, на митингах, в бесчисленных стычках и схватках не приводила к победе. Сторонники государства, реальные обладатели власти, отступив на последний рубеж, за которым следовал распад страны, крах экономики, хаос и взрыв, – уперлись о камень, сплотились, не пускали реформы. Реформаторы в нетерпении, плодя законы, бушуя на улицах, закатывая истерики в прессе, были бессильны. Их не слушали рабочие в угрюмых ржавых цехах, солдаты в замызганных гарнизонах, крестьяне в стылых деревнях и селениях. Две равновеликие силы сдвинулись, осыпая друг друга ударами, застыв в равнодействии ненависти.

– Повторяю, Тэд, здесь, в «Золоченой гостиной», ответы на все вопросы. Вы ведь входите в гостиную? Консультируете наших вельможных старцев? – Белосельцев с усилием улыбнулся, заслоняясь от Глейзера этой неуверенной, жалкой улыбкой.

– Виктор, вы близки к официальным кругам. Я хотел задать вам вопрос, – профессор Глейзер мягко улыбнулся, демонстрируя доверительность, академическое партнерство, связь двух интеллектуалов, чья умственная культура не может принадлежать вульгарной политике, а только целям познания. – Какое настроение у вашего генералитета? Терпение генералов может лопнуть. Как, по-вашему, способны они на решительный действия?

– Наши генералы, Тэд, ничем не напоминают Пиночета, – Белосельцев закрывался от проникающего излучения сложной, из сумбурных мыслей и чувств помехой. – Они слепо послушны своему министру и Президенту. Разве вы не видите, как они, ручные и вялые, по-

совиному хлопают глазами на съездах, выслушивая оскорбления в свой адрес? Как беспомощны перед веселыми молодыми журналистами, которые водят их на поводке, как глупых налимов? Как безропотно передают судьбу армии дипломатам в жилетках? Как добровольно, с тупым сладострастием, раскалывают свои ракеты и подводные лодки? Сытые, откормленные, как домашние собаки, получающие пищу из рук хозяина, они не способны на решительные шаги.

– А маршал Жуков? Известно, что он был готов к военному перевороту. Вспомните «заговор генералов».

– Нет, – разувял Белосельцев. – Не было заговора. Жуков был верным и безропотным сыном партии. Обладая абсолютной военной властью, обожаемый народом, он не решился восстать против партии. И это человек, который выиграл мировую войну. Уверю вас, Тэд, генералы не способны на решительный шаг.

– А партия? Кто, по-вашему, сможет сменить Генсека? Ведь в партии, как мы видим, созрело понимание, что ее обманули. Уверен, она должна попытаться вернуть себе власть.

– В партии иссякла энергия, – вяло бросил Белосельцев, маскируя ответ в жалкий камуфляж, продолжая исследовать тончайшее излучение, исходившее из пальцев профессора, как едва заметные лучистые щупальца. – В верноподданной партии силен инстинкт послушания. Партийная дисциплина вручила судьбу организации в руки немногих вождей. Партию умертвляют, а она, истекая кровью, ползет, как овчарка, навстречу стреляющему в нее хозяину. Умирает, но лижет ему руки.

Аналитик из «Рэнд корпорейшн» выклеивал у него крупницы знаний. Там, в Калифорнии, в компьютерных залах эти крохи сомкнутся с другими, сложатся в картину распада. Старцы в «Золоченой гостиной» получают новые рекомендации. Белосельцев, подумав о старцах, ощутил запах тления, смешанный с туалетной водой.

– А как настроения в директорском корпусе? Я знаю, промышленники крайне недовольны конверсией, разрушением оборонного комплекса. Их союз с армией и партией был бы решающим в балансе сил.

– И здесь вы переоцениваете ситуацию, Тэд, – Белосельцев чувствовал, что своим однообразным отрицанием он совершает ошибку. Не желая давать информацию, косвенно ее предоставляет. – Увы, уже не осталось тех директоров и министров, которых отковал в свое время Сталин. Не осталось государственников, готовых идти под расстрел, но радеющих за интересы страны. Сейчас иной контингент – делают деньги, пустились в коммерцию, готовы за доллары продать сверхсекретный перехватчик. Со стороны военно-промышленного корпуса нет серьезного сопротивления.

Он был прав, профессор обнаружил обман, выхватив из ответа нужную ему крупницу информации. Глаза в окулярах, выпученные от внимания, истекавшие голубоватой слизью, уменьшились, втянулись вглубь, словно моллюск углубился в раковину, унося сладкий кусочек добычи.

– Я с вами согласен, Виктор, – профессор прекрасно владел русским, лишь слегка повышал интонацию к окончанию фразы, выгибая ее, словно проволоку. – Самое важное – как безболезненно передать управление армией, разведкой, промышленностью из рук консерваторов в руки друзей реформ. Как осуществить переход власти от Первого, как вы говорите, ко Второму, за которым несомненное будущее. Есть некоторые сценарии. Опыт Румынии, Венгрии. Есть компьютерные проработки.

Белосельцев, изнуренный словесной борьбой, видел, что он проиграл. Тоскуя, смотрел, как в далеких, начинавших желтеть тополях, осыпанные желтизной, золотятся кресты собора. Он был сбит в поединке ударом «организационного оружия». Вся мощь чужой цивилизации, блеск ее компьютерного интеллекта обрушились на него, давили, лишали рассудка. Превращали его одинокий разум в клубок смятения и ужаса.

Глейзер, не скрывая, праздновал победу. Довольно улыбался, шурился на экзотические кресты барочного храма.

– Виктор, хочу вам сделать предложение. Переезжайте жить в Америку. Это предложение исходит не от меня, а от руководства «Рэнд корпорейшн». Ваши уникальные знания, ваши методы анализа советской действительности, ваши оригинальные методики, уверяю, расцветут в Калифорнии. Мы дадим вам лабораторию с отличной компьютерной базой. Вы не будете ни в чем нуждаться. У вас появятся прекрасные условия для работы и отдыха. Хотите – Лос-Анджелес, хотите – Беркли или Сан-Хосе. Вы сможете поработать над книгой. Там много русских, давних выходцев из России. Есть и недавние, полюбившие Америку. В Калифорнии снова дуют русские ветра.

Он мягко засмеялся сытым смехом утолившего голод человека. Основная пища была усвоена, оставался десерт, на сладкое.

Белосельцев испытывал страшное напряжение, словно его кости и плоть были вправлены в громадную, красного цвета машину, состоявшую из одиннадцати часовых поясов. Ногтями, зубами он вцепился в шестерни и валы, в Уральский хребет и Памир, старался их удержать и скрепить, но они расползались, хрустели, разрывали его вены и жилы. И боль была непомерной.

– Вы лучше меня знаете, Виктор, в Советском Союзе все кончено. Ваши статьи и прогнозы о крушении централизма подтверждаются. Здесь будет непрерывный распад на долгие годы, вражда всех со всеми. Будет голод, холод, уличные бои. Будут аресты и казни. Будут гореть музеи и библиотеки. Будет вакханалия лидеров. Новый Лжедмитрий или батька Махно захватят Москву, какой-нибудь шизофреник с двуглавым орлом и эсэсовскими молниями въедет в Кремль. Но, увы, культуры здесь больше не будет, и науки тоже. В лучшем случае после изнурительной смуты здесь создадут этнографический заповедник с замечательными русскими храмами и византийским церковным пением. Но атомной энергетики, космодромов, футурологических центров здесь больше не будет. Первая волна русской эмиграции бежала от хаоса и унесла на Запад идеи и ценности Русской империи, сделала их достоянием мира. Вы унесете идеи и ценности Советской империи, и мы их с благодарностью примем. Ведь вы последний рыцарь этой империи. Виктор, переезжайте в Америку. Билет на самолет и виза будут вам заказаны.

Выходит, Белосельцев и был последний солдат империи, последний ее ополченец, бегущий с тонкой колючкой штыка по сугробам навстречу черным машинам. И нельзя повернуть назад, нельзя поправить обмотку. С клекотом в замороженном горле выставил штык и бежал, чувствуя лбом дуло танковой пушки.

– Согласен, – произнес Белосельцев, отводя глаза от шевелящихся губ профессора, не видя себя, но чувствуя по леденеющему лбу, что страшно бледнеет, – Россию победили вторично. В начале века удалось разложить империю, расколоть территории. Мы потеряли в этом распаде четыре цветущих сословия, духовную элиту, великую культуру, плодоносящий этнос. В хаосе Гражданской войны мы потеряли два миллиона убитых, навсегда унаследовали их предсмертный ужас, превратившийся в каменноугольные пласты глубинного социального страха. Запад вполне мог себя поздравить – Россию вычеркнули из истории. После такого народы не воскресают, империи не возрождаются...

Он чувствовал, как иссякают его силы. Перед тем как истаять, собирались в сверхплотный пучок. В этом снопе раскаленного света лица его истребленной родни. Его деды и прадеды, ямщики, купцы, офицеры, приходские священники, барышни Бестужевских курсов. Их милые полузабытые лица, перед тем как кануть в неизвестность, успели отразиться в его лице. В цвете волос и глаз, в овалах подбородка и губ. Звучали в его интонации их исчезнувшие голоса.

– Но не чудо ли? Империя воскресла, народ возродился. На восстановление империи, на строительство городов и заводов, на обретение науки и армии, на победу в Великой войне, на выход в космос и мировой океан мы потратили еще тридцать миллионов жизней. Их ужас и

боль отложились в наших костях и глазницах. Мы выдержали страшный удар Европы, и она раскололась о нас, как гнилое яйцо...

Сидящий перед ним благополучный умный профессор перелетел океан, чтобы наблюдать его муку, учинить ему утонченную пытку, выпытать сокровенную тайну. Это был враг, чей разрушительный ум, проницательность, жестокая наука и знание сокрушали державу. Без сил, опоенная ядами, она была повалена на операционный стол. Над ней трудились мучители, распиливали, размалывали, извлекали внутренности, впрыскивали наркотики, перекрывали дыхание, забивали железные костыли. Огромное тело бессильно мычало, брызгало слезами и кровью, сотрясало судорогой. Это он, Белосельцев, лежал на окровавленном верстаке в липком поту и испарине, и ловкие пальцы хватали его трепещущее сердце.

– Россия вам мешала. Иррациональные грезы о Русском Рае, одухотворенная мечта о бессмертии мешали вашей рациональной организации мира. Ваш «мировой порядок», шествующий триумфально, натолкнулся на Россию, на ее стихию, упрямую память о прошлом, на ее бездорожье, ракеты, разоренные храмы, где Бога больше, чем во всех ваших соборах, на ее космодромы, где готовится посадка космопланов Второго Пришествия. Русские нефть, лес, медь и никель – они вам спать не дают. Вы разработали концепцию, способную нас уничтожить. Направили на нас стволы «оргоружия», и мы под страшным обстрелом. Мои статьи и та книга, что я завершаю, вскрывают ваш замысел. Поверьте, я знаю, откуда направлен удар. По каким объектам и целям. Знаю всех, сидящих в «Золоченой гостиной»...

Он был последний солдат империи, и в него, последнего, умирающая Родина вприснула предсмертную силу. Вдохнула импульс жизни. Наделила волей и ненавистью.

– Ну что ж, мы разрушимся. Но знайте, наше разрушение страшно коснется и вас. Наши осколки и трещины промчатся по всей земле, достигнут Америки и взорвутся в центре Манхэттена. Наши останки упадут вам на головы, расколют и ваши кости. Ибо, когда взрывается Урал, трещат Аппалачи. Когда иссыхает Волга, мелеет и Миссисипи. Когда отравляют Байкал, яд течет в Мичиган. Такова геополитика Российской империи. Исчезнет Советский Союз, но тут же возникнет Германия, расшвыряет все ваши хлипкие построения в Европе, наденет на нее железный колпак. Исчезнет наша империя, но встанет исламский мир, великий халифат от Каспия до Пиренеев, и вы захлебнетесь от исламской ненависти. Исчезнет наша империя, но Япония припомнит вам Хиросиму, войну на Филиппинах, и тогда Перл-Харбор покажется вам салютом в Диснейленде. Повторяю, трещины от нашего взрыва добегут до Америки, тряхнут в ваших домах чайные сервизы, заклинят ваши компьютеры, и вы содрогнетесь от подземных толчков. Да, мы в России будем стрелять друг друга, жечь библиотеки, музеи. Но у нас есть не только музеи, но и реакторы. Взбесившаяся, охваченная гражданской войной Россия, в последней тоске и безумии, взорвет свои станции, запустит свои ракеты, и этот салют в честь Конца Света развесит над Америкой свои сверкающие великолепные люстры. Наша империя, уходя из истории, утащит вас в преисподнюю.

Он стих, почти не дышал, израсходовав в крике остатки жизненных сил.

Профессор Глейзер серьезно, внимательно слушал его крик и угрозу. Белосельцев почувствовал, как во время безумной вспышки был потерян контроль, произошла утечка сведений. Не владея собой, он в чем-то проговорился. Моллюск в розовой слизи вывалился из ракушки, слизнул добычу, унес ее в глубину оболочки.

– Простите, Тэд, – сказал Белосельцев. – Я не хотел вас обидеть. Здесь у всех нервы на пределе. Вся Москва на нитке висит.

– Я вас понимаю, Виктор. Я знаю, вы хотели побывать в Американско-Российском университете на семинаре по партийному строительству. Вот приглашение, – Глейзер положил на стол лакированный квадратик пригласительного билета. – Там и повидаемся. Повторяю, вас ждут в Штатах. Билет на «Пан-Америкэн» будет заказан.

Профессор поднялся, раскланиваясь. Благополучный, холеный, он уносил добытое знание о двух заговорах, двух тайных подкопах. Белосельцев провожал его взглядом. За профессором по паркету к порогу тянулся легкий слизистый след, какой оставляет улитка, ползущая по утренней влажной тропинке. Этот след уводил в город, в таинственный бункер, где размещалась невидимая грозная пушка, долбившая стены Кремля.

* * *

Оставшись один, Белосельцев пытался вспомнить приснившийся ночью стих. Грустное грозное восьмистишие, от которого проснулся с сердцебиением. Он помнил его несколько секунд во тьме, перед тем как снова заснуть, а наутро забыл. Только остались больные горькие ритмы и близкие слезы в глазах.

В дверь кабинета постучали. Не дожидаясь приглашения, весело, бодро, заноса с собой энергию трудолюбия и успеха, вошел Трунько, социальный психолог, чью книгу о психологии политики он недавно рецензировал, сопроводив комплиментарным послесловием. Трунько был моложав, лысоват, начинал тучнеть и лосниться. На пальце его аппетитно желтело толстое золотое кольцо. Было видно, что его работа, уклад, образ жизни доставляют ему удовольствие, и он щедро хочет поделиться с другими своим здоровьем, довольством, пришедшими в голову мыслями. Но все это вдруг начинало казаться искусно созданным, сочно раскрашенным образом, за которым таилась иная, потаенная сущность, другое таинственное существование.

– Виктор Андреевич, зашел убедиться, что умнейший человек современности жив и здоров! – Трунько от порога успел проследить, что глаза Белосельцева направлены на черно-изумрудную бабочку. – А кстати, вы никогда не задумывались, почему в русском фольклоре и в орнаменте отсутствует бабочка? В африканском, американском и даже китайском есть, а вот в русском нет. Русский человек, замечавший орла, ворона, медведя, лисицу, лягушку и шуку, не заметил бабочку. А ведь косцы в лугах были окружены бабочками. Казалось бы, что может быть заметнее. Но не заметили. Здесь есть фигура умолчания, какая-то тайна. Кстати, иногда мне кажется, что в прежнем воплощении я был бабочкой.

Трунько говорил полушутя-полусерьезно. Его рассуждение о бабочке на миг погрузило Белосельцева в зеленое сверканье подмосковного луга, в сладкое благоухание пыльцы. На горячем солнце, задыхаясь от бега, он стоит среди желтизны, синевы, и в сачке, в полупрозрачной кисее слабо шелестит и трепещет алая бабочка. Все это было чудесно, если бы не легкое туманное облачко, витавшее над головой Трунько. Слабое колебание света, замутненное потоком лучей. Он внес их вместе с собой в кабинет, прощупав излучением потолка и стены. На его темени вращалась едва заметная чашечка антенны и, как мигалка, впрыскивала лучи.

Он был коллекционер бабочек, и эту страсть возжег в нем Белосельцев, подарив несколько драгоценных экземпляров из своей домашней коллекции. Между ними установилась связь не просто коллег и ученых, изучавших современное общество, но и двух любителей изощренной охоты, ловцов и эстетов.

– Когда я слышу о ваших вояжах по войнам и горячим точкам, – продолжал Трунько, – я не показываю вида, что знаю, почему вы колесили по этим местам. Все думают, что Белосельцев, аналитик разведки, изучает конфликты, измеряет своим интеллектуальным аршином дугу нестабильности, а на самом деле он берет сачок и ловит бабочек в сельвах и джунглях. Не ваша вина, что лучшие популяции бабочек обитают в тропиках и саваннах, где граждане «третьего мира» ожесточенно стреляют друг в друга. У вас уникальная коллекция. Ее можно описать в монографии: «Политическая энтомология военной борьбы второй половины XX века». Когда я был у вас, то подумал, что земля, как живым шелком, покрыта порхающими бабочками, а сквозь этот волшебный покров, прорывая его, взлетают ракеты, чадят дымы городов, стартуют бомбардировщики.

Лишь краткий миг ум и душа Белосельцева отдыхали среди луга, и зрачки, чуть прикрытые веками, созерцали бабочку в прозрачной паутине сачка. Тревога вернулась, а вместе с ней и пытливая подозрительность, отыскивающая источник опасности, крохотную антеннку на голове Трунько, опылившую его незримым, бесцветным снотворным.

– Что думаете о психологическом состоянии общества? – спросил Белосельцев, зная, что Трунько ведет кропотливые таблицы социально-психологических измерений, где сложной системой знаков изображается тонус общества. – Каков на сегодня знак «пси»? – повторил Белосельцев, чувствуя, что подвергается гипнотическому воздействию.

– Индекс «пси» упал почти до нуля. Психосоциальная жизнь переходит из явных форм в галлюциногенную, почти летаргическую. – Трунько стал серьезным, его умные глаза сосредоточились, а в чашечке антенны, как в глубине цветка, загорелась огненная тычинка. Они коснулись сокровенной темы, где, по его мнению, зрели небывалые открытия. Он завершал статью о психологии истории, где предлагал метод психологических предсказаний грядущего исторического события. Белосельцев ценил оригинальный подход Трунько. Но теперь, борясь с гипнотической волей, видя алую тычинку в пульсирующей глубине цветка, знал, что Трунько явился из тайного бункера, где укрыта невидимая страшная пушка. Облучает, выведывает знание о «заговорах». Делает множество моментальных снимков его мозга, разноцветных послойных срезов, голографических объемных картинок с изображением тайных подкопов.

– Народ за последние месяцы настолько измучен очередями, безвластием, настолько сбит с толку сменой доктрин и лозунгов, что психологическая сопротивляемость его скользит к нулю. Например, люди в очередях перестали бранить правительство. Очереди замолчали и напоминают покорные вереницы в концлагерях, безвольно идущие в крематорий. Или вот, например, совершенно исчезли политические анекдоты. На Старом Арбате затовариваются на лотках деревянные болванчики, изображающие крапленого лидера. На политические куклы исчез спрос. У общества возникла нечувствительность к социальной боли. Оно вяло колеблется в малом диапазоне «пища—сон». Как во сне, в нем бродят обрывки чувств и инстинктов, и оно не способно к сопротивлению.

Трунько рассказывал о тестах, проведенных в среде военных, партийцев, промышленников, парламентариев. И везде, по его словам, наблюдалась социальная апатия, неспособность к сопротивлению.

– Когда очень долго пытаются, возникает невосприятие боли, – повторил Трунько. – Наше общество пытались несколько лет, и оно уже не общество, а сумма, которую можно делить или множить.

Действие гипноза усиливалось. Красная тычинка антенны нежно пульсировала, удлинялась, чутко и слабо касалась его лобной кости. Безболезненно проникала вглубь, превращалась в легчайшее перо, в опахало, которое овеивало полушария мозга. Убаюкивающий ветер сладко усыплял. Таившиеся в сознании образы всплывали во сне, и антенна вычерпывала их из разума, как светящиеся на морской поверхности ночные водоросли.

Белосельцев боролся с гипнозом. Снова представил – огромное, красно-окровавленное тело повалено на операционный стол. Оглушенное, усыпленное, отравленное анестезией, оно бессильно, недвижно. Над ним склонились мясники и мучители. Кромсают, рвут сухожилия, пилят кости, выковыривают органы. Родина на кровавом верстаке между трех океанов. И это жуткое зрелище не позволяло уснуть, ум, окруженный усыпляющими лучами, продолжал бодрствовать.

– Вы полагаете, общество не способно к гражданской войне? – Белосельцев посылал навстречу лучам встречный защитный импульс. – Еще недавно вам казалось, что господствует психология гражданской войны.

– Момент апатии несомненно пройдет. Произойдет новое накопление агрессии. Но сейчас царит психологический ступор, анемия.

Трунько был посланцем старцев из «Золоченой гостиной», носителем той «пси-энергии», которая управляла сознанием, считывала тайные мысли, навязывала психозы и мании, побуждала к безумным действиям. Белосельцев подвергался облучению, терял над собой контроль. Боролся с болезненной слабостью, стараясь встречным поиском проследить направление лучей, обнаружить секретный бункер. Слышал, как потрескивают в глубине земли два встречных тайных подкопа. Два подземных стальных крота роют навстречу друг другу. И кто-то третий, невидимый, следит за движением подкопов, считает время до взрыва.

– Я вам так благодарен, Виктор Андреевич, за те идеи, которыми вы меня одарили, особенно за ваш замечательный термин «организационное оружие». Его существование для меня несомненно. Пусть другие ваши последователи изучают экономические или культурные аспекты «оргоружия». Я же, используя ваши рекомендации, веду эксперименты над «пси-оружием», которое уже теперь способно разрушать устойчивые образования в общественном сознании. Приходите на наш семинар, в шереметьевском дворце, в Останкино, и вас удивит увиденное.

Легчайшая стамеска била его в основание черепа. Снимала костяной купол. Открывала студенистые полушария мозга с фиолетовыми и красными ручьями кровеносных сосудов. Трунько умелыми пальцами рылся в слизистой массе, извлекал из нее запаянную капсулу, мягко улыбаясь, клал в карман.

– Не забуду, Виктор Андреевич, как во время Первого съезда вы сказали, что туда непременно следует направить антропологов, психиатров, этнографов, театральных режиссеров, разведчиков. «Это, – сказали вы, – зашифрованная модель будущей катастрофы». Я получил аккредитацию на съезд и понял, вы были правы.

Белосельцев считал съезды элементом «оргоружия». Съезды убили страну.

Нескончаемое безумие, абсурдистский театр, где ссорились народы и лидеры, зашифровывались и устранялись проблемы, вбрасывались ложные цели, тратилось социальное время. Генералы, адвокаты, поэты с искаженными лицами скандалили, косноязычно умоляли и требовали, вываливая наружу кучи гнилья, сдирали с себя парики и одежды, обнажали больные, в струпьях тела. Народ, припав к телевизорам, из которых хлестала гнойная жижа, отравлялся, сходил с ума. Ошалелыми толпами, под флагами всех расцветок, ходил взад-вперед по городу, орал, сходилась стенкой на стенку, падал в изнеможении в подворотнях. Съезды были огромной клиникой, копившей и умножавшей болезнь.

– И это вы, Виктор Андреевич, посоветовали мне исследовать прессу и телепрограммы, расшифровать коды, которыми зомбируется нация. Я вскрыл целые системы шифров и символов, действующих на подсознание.

Да, он помнил свои советы. Пресса изглодала страну. Советники из «Золоченой гостиной» передали газеты и радио в цепкие лапки умных и злых комментаторов. Те просочились в семьи, ворвались в институты власти. Истерли в труху идеалы и символы веры. Так бесчисленные муравьи превращают в скелет упавшую в муравейник подбитую птицу. Народ корчился среди газетных листов, телепрограмм, ежечасно сходя с ума, не понимая, откуда мука, кто и зачем отнимает любимую музыку, родные образы, привычные интонации речи. Всякий вечер старики на своих колченогих креслах устраивались перед экраном и умирали тысячами, не выдержав радиации.

– Помните, Виктор Андреевич, вы порекомендовали мне познакомиться с оккультными учениями, как-то обронули вскользь, что разрушение будет основываться на магических знаниях, распространенных в элитных кругах. И вы оказались правы – по стране был нанесен экстрасенсорный удар невиданной силы. Тысячи магов и колдунов управляют распадом, берут под контроль политических лидеров, писателей и ученых, социальные группы и целые регионы. Если вы придете на мой семинар в Останкино, я покажу вам их возможности.

Да, он, Белосельцев, это предвидел. Оккультисты овладели страной. Тусклое зарево ворожбы, тайного колдовства, чародейства сочилось над обманутой Родиной. Ведьмы, маги, астрологи и экстрасенсы плодились, как бациллы, проникали в дома, заражали университеты и научные центры, министерства и мастерские художников. Здравый смысл, которым создавалась наука, сотворялись школы искусств, – этот смысл был охвачен синеватым свечением тления, цветом болезни, огоньками болотных гнилушек. Мозг, пораженный безумием, неспособный к рациональному знанию, отступал в вялый бред.

– Мой вывод, Виктор Андреевич, – Трунько оглянулся, не подсматривает ли за ними соглядатай, отчего антенка с красным огоньком в глубине скользнула по стене, оставив на ней затейливый гаснущий вензель. – У нашего общества абсолютно исчез психологический иммунитет. Сорваны защитные экраны, вскрыты «роднички». В ближайшее время возможен концентрированный психологический удар, цель которого – паралич. В результате общество смирится с любым диктатором, перед которыми Сталин или Пол Пот – милые овечки. Народ окаменеет и безропотно, безразлично станет смотреть, как расчленяют страну, отдают Сибирь и Курилы, Закавказье и Среднюю Азию. Людям будет запрещено говорить на родном языке, их станут изгонять из квартир, и не будет протеста, не будет партизан. Я знаю, такой удар подготовлен. Идет последнее накопление энергии.

Враг прислал ему еще одного гонца, с последним предупреждением, предлагая сдаться. Он знал, что беда неминуема. Искал того, кому о ней рассказать, кому открыть чертеж катастрофы. Перебирал имена и лица, знакомых военных, партийцев, председателей партий и фракций. Но не было среди них того, кто бы мог его выслушать, внять его слову, узнать беспощадную истину. Все были глухи и слепы, скопом скользили в погибель. В угрюмых, непроходимых для взгляда пластах шевелились два заговора, два упорных железных крота, двигавшихся навстречу друг другу.

Общество, которое он изучал, имело внешний, вполне различимый и понятный рисунок, в который укладывалась политика партий, лозунги, демонстрации, съезды. Но в своей глубине оно было непознаваемо, бесконечно. Брало свое начало в непроглядно-далеком прошлом, в скифских курганах, варяжских челнах, в «культуре боевых топоров». Сливалось с природой, с Космосом. Было огромной живой материей с отмирающей и возникающей плотью, окружавшей бессмертную плазму, лучистую энергию, чистый дух. В этом обществе присутствовали древние неистребимые векторы и будущие неразличимые цели. Оно напоминало машину, сконструированную по законам разума, но было иррациональным, неразумным, под стать мировой стихии. Загадочный, непредсказуемый Космос вторгся в судьбы живых поколений, сливался с мощностью моторов, с энергией заводов и станций, создавая необъяснимые брожения истории, вспышки войн и восстаний, подобные вспышкам на Солнце. Белосельцев чувствовал политику как тонкие воздействия, управляющие огромной социальной машиной, в недрах которой клочкотали вулканические энергии, способные двигать историю. Легкое нажатие клавиши, и кончается каменноугольный период, завершается империя Рима, осыпаются рубиновые звезды Кремля.

– В вашей монографии должна быть глава «Астрологические портреты политических лидеров». Ведь по-прежнему остается невыясненным, в какой степени психологические характеристики вождя определяют выбранный им политический курс, – Белосельцев спрятал свой страх в скорлупу академической лексики. – Я рекомендовал бы вам составить астрологическую карту советских вождей от Ленина, Троцкого и Сталина до ныне властвующих. Таким образом, раскроется звездный аспект социалистического строительства, а также обнаружится астрономическая динамика, в недрах которой возник антилидер, творец разрушения. Это было бы абсолютно новым, экстравагантным исследованием.

– Вы, как всегда, угадали мои намерения, Виктор Андреевич. Я только что составил гороскоп на Первого, как вы его называете. Эти астрологические халдейские таблицы порой

удивительно верны. В данном случае мы имеем дело с классическими Рыбами в месячном исчислении и с Козой – в годовом. Рыбы – это двойственность, незавершенность, неверность и вероломство. Способность ускользать, уплывать от решений, предавать друзей и соратников. Море, вода будут местом, где станет решаться его политическая судьба. Рыбы – обительницы вод, а вода, по древним представлениям, синоним Хаоса, из которого проистекают формы, стремящиеся воплотиться в Космос, и в нем же, в Хаосе, исчезают. Рыбы открыты для разрушительных сил преисподней. Все, к кому они прикасаются своими плавниками, после краткого периода света и блеска погружаются во власть темных сил. Рыбы поддаются внушениям, переменчивы, честолюбивы, обидчивы. Их доброта и обаяние мнимы. В них – вероломство и мстительность. Коза в сочетании с Рыбами дает тип, лишенный личного творчества, однако блестяще его имитирующий. За таким человеком стоит, как правило, другой, невидимый никому человек, управляющий первым. Смерть Рыб проходит беспокойно, часто ужасно, ибо их забирают назад первобытные стихии воды и Хаоса.

Пока Трунько излагал свою теорию, ссылаясь на расположение планет и созвездий, упоминая Солнце, Сатурн, Юпитер, созвездие Козерога и Льва, Белосельцев живо представил Первого, лукавого фигляра, возникшего, как размалеванный клоун, из темных неосвещенных кулис партийного мира. Его многословный бойкий говорок с внезапным, как помарки, косноязычием, в который то и дело, выжигая устойчивые партийные штампы, залетали вычурные иностранные термины, – отпечаток чьих-то настойчивых воздействий. Подкупающая, мнимо-искренняя мимика, эмоция сердечности и внимания, правдоподобная маска сострадания и сочувствия, под которой не скрыть постоянную тревожную чуткость, зоркую подозрительность, холодную бдительность. Он ненавидел его суждения, наполненные пустотой, жесты, воспроизводящие эту пустоту. Лакированные лимузины, в которых, красуясь, он проезжал по Москве, его беседы с народом через головы сытых охранников. Туалеты его жены, бес тактно-ослепительные среди тусклого, бедно одетого люда, и ее вымученные деревянные речения с непременным желанием оказаться перед телекамерой. Белосельцев ненавидел в нем беспардонное расходование чужих, накопленных до него энергий, собранных по крохам богатств, которыми он покупал свою популярность в заморских, безбедно живущих странах. Его славолюбие, жажда непрерывного успеха, упоение властью, для поддержания которой он предавал самых близких соратников, отступался от друзей, сдавал союзников. Губил доставшееся даром. Не восполнял, а только сорил и тратил.

Вскормленный и взлелеянный партией, он умертвлял среду, давшую ему жизнь. Получив в управление огромную таинственную страну, наполненную страданием, легкомысленно и бездарно направлял ее в пропасть. Разорял хозяйство, останавливал заводы и станции, разбазаривал науку, пускал по миру ученых и инженеров, выталкивал за границу на потребу чужой цивилизации. Верховный Главнокомандующий, он умертвлял великую армию, закрывал космодромы, взрывал ракеты и лодки, ликвидировал группировки, отдавая без боя противнику театры военных действий. Он открывал секретные сейфы для чужих спецслужб и разведок. Выставлял генералов на растерзание бесноватой прессы. Отнимал у доверчивого народа последний достаток, передавая аморальным дельцам народное добро и богатство. Вероломно, обманом допустил в политику ненавидящих государство людей, а в культуру – воинственных русофобов и сатанистов. Учредив растленные парламенты, взрывая и умирняя съезды, он рассорил народы, заварил изнурительную кровавую распрю, из которой выход был только в гражданской войне.

Белосельцев ненавидел этого фигляра, блистательно-лживого, пустопорожного, наполненного дымом чужих идей, с круглыми глазами рыбьего малька и лиловым пятном саламандры, возникавшей каждый раз из огня, в котором горела подожженная им страна. Он был отвратительной загадкой русской истории, знавшей на троне палачей, ленивцев, расслабленных, но никогда – предателей, умышленно, в интересах врага, погублявших Отечество. Он был

носителем неземной сатанинской силы, прекрасным и обольстительным, как бес, безжалостным и неподвижным, как смерть.

И так велика была ненависть Белосельцева, так жарко и страстно он отрицал фигляра, что возникло видение – два замызганных бэтэра, харкая гарью, мчатся по Садовому кольцу, народ прижимается к стенам, и два трупa, мужской и женский, на железных блестящих тросах колотятся по асфальту, сбиваясь в лохматые комья.

«Господи, что это я!» – очнулся Белосельцев, запрещая себе думать так и чувствовать, торопливо вымаливая у кого-то прощение за жуткие видения и мысли.

Мука и страх отразились на лице больной grimасой, которую тотчас сфотографировал собеседник, унося вместе с ней добытое знание. Глаза Трунько наполнились неискренним состраданием. Прижимая руку к груди, он проникновенно сказал:

– Дорогой Виктор Андреевич, какие бы напасти на вас ни свалились, рассчитывайте на меня. Не смею мечтать, но вдруг вам захочется от всего отрешиться, на все махнуть рукой, и тогда мы вместе, на один только день, отправимся куда-нибудь под Серпухов, на Оку, где водятся удивительные голубянки, и половим бабочек, – Трунько весь излучал сочувствие. – А вот такую игрушку видели! – Трунько извлек из кармана какую-то дудку, с прикрепленным вялым пузырем, и начал дуть. Сморщенная резиновая оболочка стала расширяться. На ней обнаружилось лицо, знакомые чувственные губы, чуть выпученные глаза, лысый лоб с фиолетовой кляксой. Трунько продолжал дуть, голова пухла, увеличивалась, как от водянки, глаза вываливались из орбит, плотоядные губы уродливо и страшно растягивались, метка жутко расплзалась по бугристой лбу. Нетопырь, вурдалак, глубоководная, распираемая давлением рыба качалась на кончике трубки. Вот-вот взорвется и лопнет.

Трунько выпустил трубку изо рта, воздух с легким свистом стал выходить. Пузырь опал, сдулся, сморщился.

– На Арбате купил, – по-детски радовался Трунько, засовывая игрушку в карман. – Прощаюсь, Виктор Андреевич, но ненадолго. Жду вас в Останкино, – прижимая руку к груди, гость покидал кабинет. От него на полу оставались золотые отпечатки перепончатых утиных лап.

* * *

Стих, который приснился ему ночью, был где-то рядом. Был записан на лежащей под сердцем скрижали. Но скрижаль не прочитывалась, стих не всплывал, и от этого – мука.

Он чувствовал подспудное движение заговоров, как неуклонное сближение электродов в корпусе взрывателя. Медные пластины сжимались, между ними утончался просвет. Солнечный город, редящие тополя, кресты соседнего храма, синеватая гарь Садового кольца, рынок в потеках фруктового сока, вся Москва с ее злыми очередями, неопрятными площадями, ветхими фасадами, на которых золотилась плесень упадка и разложения, – все было заминировано, умещалось в тонкий просвет взрывателя. Пластины сомкнутся, и взрыв расколется город, превращая его в жуткую, из разноцветных осколков и клиньев картину кубиста.

Без стука, весело похотывая, мигая лукавыми глазками, вошел человек, маленький, шустрый, весь в коричневых морщинках и складках, держа кожаную изящную папочку.

– Не мог не зайти, Виктор Андреевич, не мог не выразить моего почтения!

«Они все идут посмотреть на меня, как на прикованного в клетке, обессиленного медведя», – подумал в первую секунду Белосельцев, не признавая развязного гостя. Но во вторую – узнал в нем Ухова, коммерсанта и общественного деятеля, с которым познакомился месяц назад на конференции. Тогда они обменялись шутками, визитными карточками, и вот теперь он, летний, загорелый, энергично шевеля морщинами, занял кресло в его кабинете, весело и пытливо разглядывая хозяина плутоватыми глазками.

– И по делу, и бескорыстно, Виктор Андреевич, из одного лишь желания повидаться! – он похохатывал, показывая желтые, как у большой белки, зубы.

По поведению гостя, по направлению морщин на плутоватом лице, по тому, как слегка косо он уселся в кресло, Белосельцев понял, что Ухов был посланцем оттуда, где совершались подкопы. Поднялся на свет из штольни – складки лица, морщины, корни волос, стигбы модного пиджака были в грунте подземных работ.

– Рад, что зашли, – сказал Белосельцев, стараясь не выдать открытия.

Лицо Ухова состояло из бесчисленных хаотических складок, сжималось и разжималось, будто вывернутый наружу складчатый голодный желудок. Переваривало, всасывало, чутко реагировало, выделяло кислоты и соки.

– Принес вам подарок, Виктор Андреевич. Эмблема нашего фонда! – Ухов положил перед Белосельцевым лакированный значок – темный овал, и в центре медовая иконка Богородицы с младенцем и надпись: «Взыскание погибших».

Так назывался фонд, президентом которого был Ухов. Этот фонд отыскивал неизвестные солдатские могилы – немецкие, итальянские, испанские, – тех, кто погиб в России во время минувшей войны. Фонд, основанный Уховым, уже получил известность в прессе, привлекал внимание дипломатов, собирал деньги зарубежных пожертвователей. Иконка светилась, как капля меда, упавшая на стол Белосельцева.

– Читал вашу статью, Виктор Андреевич, посвященную военному контролю над обществом. Скажу откровенно, она меня поразила. Ведь это, если без обиняков, призыв к военному перевороту. Среди моих друзей-демократов она произвела шок.

Это и было тем, за чем явился Ухов, – выведать, на какой глубине, в каком направлении движется встречный «подкоп».

– Неужели вам, Виктор Андреевич, вам, просвещенному человеку, ученому, нужен диктатор? Неужели наша бедная Родина, пережившая семидесятилетнюю диктатуру, не заслужила ничего, кроме еще одной тирании?

Он изумлялся, порицал, дружески осуждал Белосельцева. Прощал его заблуждения. Ценил его ум, глубину. Среди смешков и ужимок подглядывал и выводывал. Процеживал сквозь морщины и складки добытую информацию. Проглатывал драгоценный осадок.

– Никакой диктатуры! – Белосельцев, мнимо раздражаясь, втягивался в полемику, помещая прищельца в мощное магнитное поле. Заставлял все его лукавые ужимки, маскирующие морщинки и складки, выстраиваться в определенную фигуру, в застывший на секунду рисунок, где должна была обнаружиться правда. Кем он послан, лазутчик? В чем конструкция заговора? Где пролегает «подкоп»? – Никакой диктатуры! При полном развале хозяйства, остановке электростанций, голоде, беспорядках кто-то ведь должен взять на себя управление. Кто-то должен разгрести аварии на атомных станциях. Водить поезда. Кормить из полевых кухонь голодных. Защищать в своих гарнизонах беженцев. Кто-то должен остановить гражданскую войну. Это сделает армия, но не потому, что она стремится к диктатуре, а просто она займет опустевшее место, откуда сбегут деморализованные и трусливые политики.

Статья, опубликованная неделю назад, заслоняла армию от нападков прессы. Исследовала этапы разложения армии со времен Афганской войны и Чернобыля до бакинских и тбилисских событий. Была частью его представлений об «оргорузии», разрушавшем структуры власти. Командующие округами, генералы Министерства обороны, Главком сухопутных войск благодарили его за статью. Демократическая пресса развернула травлю.

– Вы умница, золотая голова! – Ухов почувствовал действие магнитного поля, распустил все свои морщины и спрятал их в глубь лица, отчего лицо стало походить на стиснутый гладкий кулак. – Зачем вы связали себя с мертвечиной? С обреченными людьми? Со вчерашней политикой? Они дохлые, тухлые, за ними нет ничего. Ну, может быть, еще раз попробуют напоследок чавкнуть затворами, лязгнуть вставными челюстями. Но их сметет, всех этих генералов,

партийцев. Все кончится огромным судилищем наподобие Нюрнбергского. Посмотрите – все талантливые, дееспособные, честные люди уходят от них, присоединяются к нам. Из партии, из промышленности, из КГБ, из армии. Идут к нам, и мы их принимаем, находим для них место. Идите и вы к нам, Виктор Андреевич! Поверьте, для вас найдется достойное и почетное место!

Белосельцев видел – его испытывали. Ждали, чтобы он обнаружил свою связь с заговорщиками. Выведывали, что он знает о заговоре. Но он не знал ничего, только угадывал смертельную опасность, исходившую от лазутчика.

– Мы нуждаемся в ваших знаниях, в вашей репутации. У нас много практиков, много энергичных людей, но не хватает теоретиков. У нас деньги, молодежь, нам помогает Запад, а у тех – одни дряхлые старики и унылые догматики. Идите к нам, Виктор Андреевич, пока не поздно, до взрыва!

Этот посланец говорил о взрыве. Был из того «подкопа», что двигался под кремлевской горкой, под Неглинной, пересекал Садовую, Пушкинскую. И надо спуститься в метро, прикинуть к мраморной стенке и, вслушиваясь в гулы и скрежеты, угадать направление беды.

Эта мысль, безумная на первый взгляд, казалась привлекательной. Вскочить, спуститься в метро, двигаться по кольцевой, радиальным, среди подземного блеска, припадая ухом к витражам и мозаикам, ощупывая бронзу и мрамор, прослушивать недра Москвы, надеясь уловить вибрацию подземных работ.

«Бред!.. – думал он. – Помрачение!.. Но мысль превосходна!..»

– Вы знаете, почему не пройдет диктатура? – воспользовавшись тем, что Белосельцев снял магнитное поле, Ухов разом выделил все морщины. – Мы вкусили свободу и уже не надеваем ярмо. Мы – другие! Вы – другой! Я – другой! Знаете, как я прожил жизнь? В коммуналках, в бараках, среди запахов сортиров и щей. Ароматы счастливого детства! Отчим, пьяница, посылал меня побираться. Были нужны деньги на водку, и я отморозил руки! Учительница в школе, комсомолка грудастая, заставляла петь песню: «Летят самолеты, сидят в них пилоты», – а рядом пацан-дебил в штаны мочился! Я первый костюм в двадцать три года надел, а то все сатиновые шаровары и бутсы из прыщавой кирзы! Девчонки от меня отворачивались. Не знал, что такое слово в полный голос сказать, все надо мной надзирали, ходил да оглядывался! А теперь, знаете, как живу? – Ухов откинулся, будто хотел оглядеть простор, на который вывела его судьба, и все его морщины зашевелились, словно лицо, подобно каракатице, готово было сорваться и прыгнуть в сторону. – У меня известнейшая в Москве коллекция авангарда. Я могу прямо сейчас, от вас, поехать на аэродром, не в Шереметьево или Внуково, а на другой, никому не известный, и улететь в Германию или во Францию! Приезжайте на мою подмосковную виллу, и я покажу вам бассейн, выложенный изразцами из мусульманской мечети времен Тамерлана! Если захочу, ко мне приедет кордебалет и будет плавать в этом бассейне в чем мать родила, среди древних изречений Корана! Мы – люди, познавшие цену свободы, – не примем диктатуру!..

Белосельцев изумился этой исповедью. Только что прозвучал «капиталистический манифест», «символ веры» нового класса, рождавшегося из распада и тлена умиравшего общества. Среди муки и смерти исчезающей огромной жизни возникала другая – мелкая, жадная, стойкая.

Белосельцев испытал брезгливость и вместе с тем любопытство. Перед ним из невзрачной куколки, из тусклой личинки рождался новый социальный вид. Этот вид сжирал его мир, изгрызал его ценности. Был новый, нарядный, яркий, как хищный кусающий жук.

– Делайте ставку на нас! – почти приказывал Ухов. – У нас реальные деньги, на которые мы можем купить политиков, прессу, интеллигенцию! Нам нужна идеология, политическая теория! Из нашей среды вышли дееспособные лидеры, но мы уже готовим им смену, растим новых политиков. Идите к нам, Виктор Андреевич, еще не поздно!

Останавливались блоки атомных станций. Ржавели у пирсов океанские корабли. Зарастали бурьяном космодромы. Закрывались лаборатории и научные центры. Гибла цивилизация, воздвигнутая в кровавом поту, которой он, Белосельцев, отдал всю свою жизнь. Вместо нее натягивали матерчатый лоскутный цирк шапито, тряпичный балаган, где плясали размазанные шуты и корчились полуголые карлицы.

«Как, – думал он. – Как им удалось перехватить разведку и армию? Парализовать партию? В чем смысл их тайного заговора?»

Он сидел, улыбался, слушая незваного гостя, наблюдая сложную пульсацию морщин, выдававшую тайные побуждения загадочной, его убивавшей жизни.

– Я пришел к вам с конкретным делом, Виктор Андреевич. – Ухов раскрыл изящную папку, извлек из нее листки. – Наш фонд «Взыскание погибших» проводит свою первую и, быть может, самую значительную акцию. Есть немецкое кладбище под Курском. Там похоронены тысячи немцев – танкисты, летчики, пехотинцы, целая дивизия, павшая на Курской дуге. Это кладбище безымянное, ни креста, ни камня, даже холмиков не осталось. Наши доблестные воины, когда пришли на это кладбище, пустили по нему танки и тягачи, сровняли с землей. Фонд хочет восстановить это кладбище. Воздать должное немецким солдатам, не по своей воле брошенным в поля России. Кончились времена ожесточения и ненависти, наступает эра милосердия!

Иконка Богородицы, словно капелька меда. Младенец обнимает материнскую шею. Надпись: «Взыскание погибших». Его отец погиб под Сталинградом в штрафном батальоне в ночь перед Рождеством. Какое-то зимнее поле, желтая над полем заря, и отец бежит, выставив неловко винтовку, проламывая валенками снег. В детстве и юности он выкрикивал отца, ждал его появления. Позже блуждал по бескрайней заволжской степи в поисках могилы отца.

– Чем же я буду полезен в вашей акции? – спросил Белосельцев.

– Это гуманный повод объединить наше разобщенное общество. Левых и правых. Либералов и консерваторов. Националистов и государственников. Пусть все забудут на время вражду, сойдутся на могилах в поминальном богослужении. Чтобы никогда не повторилось смертоубийство, не повторилась война! Вот здесь, – Ухов пододвинул Белосельцеву листки с компьютерным набором, – благословение Патриарха. Согласие германского канцлера. Одобрение немецких банкиров. А это, – он благоговейно дотронулся до листка, – президентское согласие принять участие в акции. Если вы и близкие вам люди, противоположные по убеждениям мне и моим друзьям, если мы встретимся и хоть ненадолго преодолеем нашу вражду, протянем друг другу руки, я уверен, всему обществу станет легче, зла станет меньше!

– Еще столько русских непогребенных костей, столько безымянных могил! – сказал Белосельцев, разглядывая подпись Первого на красивом белоснежном листке. Перед его глазами встали неоглядные смоленские топи, ржевские леса, полярные гранитные лбы, где насыпаны кости русских дивизий и армий, белых и красных, штрафных и гвардейских, резервных и ударных. – Нельзя ли начать с них?

– Само собой! Русские косточки – родные косточки! И нам великий грех и позор, что наши отцы и деды, непогребенные, под ветром и снегом косточками белеют. Да вот беда, нету пока таких собирателей, таких поездов и бульдозеров, чтобы косточки эти отыскать, собрать да в одну могилу ссыпать! А на немецкие кости деньги найдутся. Мы клич в Германии бросим: «Приезжайте на ваши немецкие родные могилы! Тут они, ваши Гансы, Фрицы и Курты ненаглядные!» И они поедут. Старухи-вдовы, сыновья-бизнесмены, дети-студенты. Мы это кладбище оборудуем – дорожки, надгробья. Автобан проведем. Отели, гостиницы. Церковь поставим, лютеранскую. А тут и банк неподалеку. Тут и ресторан. И туризм, и сувенирная торговля. И зал для концертов. Инвестиции в заброшенные земли. Переработка сырья. Современные технологии. И поставка молибдена в Германию. И так вокруг, казалось бы, кладбища, вокруг мерт-

вых, казалось бы, могил – очаг новой жизни! Мертвецы, опустошавшие наши земли, заплатят за это уже после смерти!

Ухов возбужденно, в большом количестве выделял из себя морщины и складки, увеличивался в размерах, словно внутри него шло бурное создание тканей, и их избыток извергался на поверхность лица.

– В новой экономике, которая, что там греха таить, бывает и грязной, и черной, и неопрятной... А как же иначе? Как первичный капитал наработать?... В новой экономике важно иметь нравственное прикрытие, гуманитарную цель. В нашем фонде – это память об убиенных солдатах. Это нравственно и гуманно. А бизнес – это второе, невидимое миру занятие!

– Великолепно! – сказал Белосельцев. – Здравый смысл и одновременно романтика! Точный расчет и полет фантазии!

Ухов всматривался в Белосельцева. Морщины слабо трепетали, как загадочные органы жизни, с помощью которых усваивались и потреблялись рассеянные в пространстве энергии.

– Я тоже думал об одном проекте, но не с кем было поделиться. Казалось, меня могут не понять, осудить. Но вам сообщу.

– Что за проект? – ласково спросил Ухов.

– Путешествие по архипелагу ГУЛАГ! Туристический маршрут по местам заключений для иностранцев... Чем можно удивить чужеземца в России? Развалюхами-церквями? Убогими городами? Допотопной техникой? А вот ГУЛАГом удивим! Эта экзотика стоит денег. Я бы основал туристическое агентство. Вклад небольшой, а прибыль огромная!

– Это как же? – поощрял его Ухов, вываливая на лице складку за складкой, словно он весь перетекал наружу, выворачивался наизнанку, и скоро его модный летний костюм, дорогие запонки, часы на золотом браслете окажутся глубоко внутри, а на поверхности будут влажно пульсировать и блестеть слизистые оболочки и ткани с красно-синими ручьями дрожащих вен и артерий.

– Самых богатых, пресыщенных миллионеров – колесными пароходами и тюремными баржами по сибирским рекам – на Север! Пароходы «Ягода», «Ежов», «Берия»!

– Оригинально! – загорелся Ухов. – Они бы сели, поплыли. Я знаю их психологию.

– Сажать их не в каюты, а в камеры! Кормить баландой и пайкой. В камере – параша. В дверях – глазок. И конвоиров – поглубе и пожилистей!

– Они бы приняли эту игру! Фотографировались бы с конвоирами, в бушлатах, с номерными бирками.

– Где-нибудь в низовьях Оби или Лены выгрузить на берег, с овчарками, и этапом, по раскисшей дороге среди комарья. Мат, автоматчики, лай собак! Гнать их в лагерь километра два!

– Не больше! Пусть выпачкаются, вымажутся, это им понравится. За это они деньги заплатят!

– Пригнать их в зону. Колючки, вышки, бараки! Проверка, осмотр! Раздевание! На кого-то накричать. Кого-то пихнуть. Кого-то в карцер!

– Да можно и расстрел устроить! К стенке кирпичной поставить, и холостыми! Играть так играть!

– Выйдет начальник лагеря, надзиратели пострашней, и с переводчиком будет объявлено, что это вовсе не игра, что их таким образом заманили, что это операция советских органов безопасности по ликвидации банкиров и промышленников Запада. Что им отсюда больше не выбраться! Пусть расстанутся с надеждой вернуться на Родину. Отныне и до скончания дней им предстоит жить в этих дощатых, крашенных грязной известкой бараках!.. Бедные чужеземцы в это поверят, по-настоящему ужаснутся, быть может, с кем-нибудь станет дурно. С бранью, пинками, под треск автоматов и лай овчарок их погонят в барак. А когда они пройдут сквозь зловонный туалет, вонючий тамбур – вдруг окажутся в ослепительном зале, где люстры,

накрытые яствами столы, очаровательные девушки в русских кокошниках, и ансамбль балалаечников в расшитых рубахах заиграет народные песни! Пережив ужас, иностранцы будут пить русскую водку, закусывать черной икрой, подписывать контракты, жертвовать колоссальные деньги на бывших узников ГУЛАГа!

Ухов смотрел на него с восхищением, будто и впрямь верил в реальность проекта, мысленно подсчитывал стоимость, возможную прибыль.

А с Белосельцевым случился приступ смеха. Сначала тонкая, играющая на губах улыбка. Дрожащий легкий смешок. Щекочущий горло смех. Громкий, неостановимый, во весь голос хохот. Хриплый, из горла, с прыгающим кадыком, клекот. Ухов смотрел на него с сочувствием и одновременно с презрением.

Белосельцев понял, что проиграл. Дождался, когда клекот утихнет, слезы впитаются в носовой платок. Сидел, переживая свое поражение, стараясь унять пробежавшую судорогу.

– Извините, – сказал он Ухову. – Со мной это было однажды, в Кампучии, после боевых действий. Непроизвольная реакция организма.

– У меня к вам просьба, Виктор Андреевич, – Ухов успокоил морщины, спрятав в их глубине добытое знание. Так упаковывают старый кожаный саквояж, перед тем как пуститься в дорогу. – Через несколько дней у нас состоится интересная встреча в одном бизнес-клубе. Будут представители новой экономики, предприниматели, молодые банкиры. Прибудет главный казначей партии. Финансист, как вы его называете. Приходите, познакомьтесь с людьми. И полезно, и интересно. И еще. У вас хорошие связи с военными, с людьми из Совета Обороны. Устройте мне встречу с Зампредом. Я хочу включить его в наш гуманитарный проект. Конверсия, которой он занят, нуждается в инвестициях с Запада. Я предоставляю ему уникальные связи.

– Поговорю, – кивнул Белосельцев. – Вряд ли Зампред заинтересуется немецким кладбищем. Но инвестиции ему интересны.

Провожая Ухова до дверей, он видел, как тот оставляет за собой на полу тонкую царапину, проскребаёт ее невидимым острием.

* * *

Белосельцев смотрел на дверь, сквозь которую, подобно теням, удалились Глейзер, Трунько и Ухов, оставив на полу кусочки слизи, рваные царапины, золотые отпечатки перепончатых птичьих ног. Эти метины уводили из его кабинета, спускались по лестнице, через вестибюль тянулись на тротуар, ныряли в салоны автомобилей, вновь появлялись у подъездов учреждений и офисов, проникая в потаенные гостиные. Эти следы были оставлены заговорщиками, указывали на заговор, на множество вовлеченных в него людей. И он сам, как бабочка, был опутан тончайшими тенетами заговора, беспомощно трепетал, пытаясь разять тончайшие золотые плетения.

Одна половина заговора, откуда являлись гонцы, была ему недоступна. Без знания пароля, тайных опознавательных жестов, молчаливых условных знаков было невозможно проникнуть в секретный бункер, где собирались заговорщики, – его сразу узнают, выловят, уберут без следа. Другая подземная половина угадывалась по неясным вздутиям почвы, по слабым трясениям и гулам, охватившим все здание государства. В армии, в партии, в оборонной промышленности, в разведке, как и в нем, скопились угрюмые силы, большие энергии. Там его примут и выслушают. По легким намекам, по едва уловимым признакам он поймет конфигурацию заговора, угадает имена заговорщиков, встанет в их ряд, предложив им свой опыт разведчика, знания аналитика, попытается уберечь от провалов стремления одряхлевшей власти. И первым, к кому он пойдет, будет Чекист – так конспиративно, без имени, он называл главного разведчика страны, с кем был хорошо знаком, чьим расположением и доверием пользовался.

В дверь кабинета опять постучали, словно кто-то, уходя, тут же возвратился, изменив облик. Дверь приоткрылась, и Белосельцеву померещилось, что за порогом был не светлый солнечный коридор, а сумрачная вечерняя подворотня с тусклым, желтым фонарем и странной, укутанной в плащ фигурой подстерегавшего тата. Наваждение исчезло, и из тьмы на солнце и свет шагнул улыбающийся Ловеико, политолог, сотрудник известного института и, как предполагали, офицер и эксперт разведки, его давнишний знакомец.

– Здравствуйте, Виктор Андреевич! – источая радушие, произнес визитер, наполняя кабинет бодрой, светящейся энергией целеустремленного человека, бесцеремонно захватывая принадлежащее Белосельцеву пространство. – Простите, что без звонка.

Белосельцеву, изнуренному предыдущими встречами, был тягостен этот визит. В душе, словно притаившаяся болезнь, ныл и дрожал приснившийся ночью стих, не мог найти себе выхода, шевелился под сердцем, как тромб. Хотелось зашторить окна, улечься на диван, закрыть глаза и ждать, когда стихотворение медленно всплывет среди успокоенных видений и мыслей, как ночная глубоководная рыба. Но нельзя было отказать визитеру, нельзя было не пожать белую блестящую руку, не ответить улыбкой на улыбающиеся дружелюбные уста.

– Удивительные у нас отношения, Виктор Андреевич, – Ловеико удобно устроился в кресле, с веселым интересом осматривая коробку с бабочками, фрагмент космического аппарата, осколок древней иконы, словно составлял опись имущества, уже не принадлежавшего Белосельцеву. – Лет десять, а то и двенадцать встречаемся в самых фантастических местах, говорим на самые сокровенные темы, а вот домами не дружим, не зазываем друг друга на чай. И если бы не моя сегодняшняя настойчивость, встретились бы в очередной раз где-нибудь в Париже или Каракасе.

Элегантный, уверенный в себе, он мало изменился с тех пор, как познакомились в Зимбабве на вилле дипломата, где обсуждали проблемы прифронтовых государств, возможности Москвы повлиять на военный конфликт. Белосельцев помнил, как в сумерках они спустились в сад, стояли на плотном газоне перед молодой араукарией. Отвечая Ловеико, он трогал чешуйчатую почку, и ему казалось, что от его прикосновений почка набухает, наливается сочным теплом, как женский сосок.

Еще одна встреча состоялась в Вашингтоне, на симпозиуме, проводившемся под эгидой центра аналитики американских военно-морских сил, где рассматривались очаги мировой нестабильности, природа локальных войн. Белосельцев в докладе наметил сдвиг всей конфликтной «дуги нестабильности» к границам Советского Союза, тенденцию перенесения ее на территорию СССР. Они сидели с Ловеико в гостиничном номере, пили виски, заедая солеными фисташками, а потом гуляли по солнечно-белой столице, зашли в Музей современного искусства и долго, порознь, бродили по пустым спиралевидным галереям, изредка сталкиваясь, награждая друг друга поклонами и улыбками.

И, конечно, они встречались в Москве, в МИДе, в институтах, в академии Генштаба, обменивались новостями и мнениями, понимали друг друга с полуслова. Оба принадлежали к избранному слою аналитиков разведки, окружавших власть, неявно, своими оценками и экспертными записками направлявших эту власть в нужную сторону, – негласные, невидимые миру творцы политики.

Теперь Ловеико сидел в его кабинете, и его умные глаза были направлены на зеленого махаона, в ту мерцавшую драгоценную точку, куда пыталась спрятаться жизнь Белосельцева.

– Вы понимаете, Виктор Андреевич, только чрезвычайные обстоятельства заставили меня прийти без предупреждения, – млажавое сухое лицо гостя изображало волнение, а глаза продолжали весело и зорко блестеть, и эта двойственность убеждала Белосельцева в том, что и этот визитер был послан к нему старцами из «Золоченой гостиной», чтобы учинить утонченную интеллектуальную пытку и вырвать необходимое признание. – Все очень тревожно, Виктор Андреевич, все нити натянуты, вот-вот порвутся. Когда вы принимали у себя Тэда Глейзера

из «Рэнд корпорейшн», вы не могли не обсуждать проблему заговора. Вернее, двух заговоров, наложенных один на другой. Все это создает невероятно запутанный, сложный фон, в котором нелегко разобраться политологам.

Белосельцев не удивлялся услышанному. Явившийся к нему человек, знавший о его встречах и мыслях, был оборотень – один и тот же агент, менявший обличья, принимавший образ американца из «Рэнд корпорейшн», сослуживца, составлявшего гороскопы политиков, лукавого дельца, делавшего бизнес на продаже могил. У него было множество лиц и масок, под которыми, если их снять, зияла страшная, наполненная землей мертвая голова.

– Я прочитал вашу последнюю статью об армии, наделавшую столько шума, – продолжал Ловеико. – Вас называют чуть ли не идеологом военного путча. Какая глупость! Они не представляют, о ком говорят, не знают, что имеют дело с ученым, чьи открытия в области конфликтологии составляют вклад в современное понимание мира. Ваши взгляды на преодоление мировой конфронтации, на выход в новый постпаритетный мир очень плодотворны, а ваша гипотеза о конвергенции советской и американской разведок в наднациональный штаб, с помощью которого мир будет выведен из тупика, – самая плодотворная из тех, с которыми я сталкивался в последние годы.

Белосельцев смотрел на его млажавае сухое лико, понимая, что доллен спросить, откуда он знает о его сокровенных мыслях, о тайных открытиях, о теориях борьбы и соперничества. Он доллен был спросить, но странный наркоз сковал его зрачки, заморозил сознание, словно Ловеико кольнул его легкой прозрачной иглой, впрыснул в кровь голубоватую струйку.

– Вы правы, – продолжал Ловеико. – Конвергенция состоялась, интеллектуалы американской и советской разведок нашли друг друга. И пока военные строили ракеты и лодки осваивали новые театры военных действий, они разработали свой проект, который отличается от вашего. – Ловеико слегка поклонился, как бы извиняясь за то, что не идеи Белосельцева были востребованы в этом проекте. – Вы, если образно говорить, носитель евразийской идеи, сторонник евразийской империи, воитель и пророк континента. Мистик суши и берега. А мы, – Ловеико спокойно и твердо посмотрел в глаза Белосельцева, – мы люди океанов, чувствующие ветер Атлантики. На геологическом языке борьба континентов, сражение великой Америки с континентом Евразии изнуряет планету, приводит к разрушению континентальных платформ, с которым необходимо покончить. Соперничество должно завершиться, и в будущем единый надмирный купол накроет изнуренное борьбой человечество, объединит его для грядущего совершенствования. Наш проект как бы смещает ось Земли, направление земного вращения. Силы, которые заложены в него, колоссальны. Ему служит мировой капитал, теория управления миром, информационные технологии, экстрасенсорные знания, «активные мероприятия» разведок вплоть до развязывания войн и взрывов в мировых столицах. Здесь, в СССР, все готово для осуществления проекта. Вы, с вашими знаниями, вашими открытиями, нам нужны. Я пришел вам об этом сказать.

Белосельцеву хотелось спросить у Ловеико, кто эти «мы», о которых он говорил. Кто стоит за его спиной? Кто эти интеллектуалы разведки? И есть ли среди них розенкрейцеры. И есть ли среди них альбигойцы. И в чем сакральный смысл борьбы континентов. И как на языке эзотериков именуется мировой капитал. И кто здесь, в Москве, и там, в Атлантике, главный Магистр. И кто его послал к Белосельцеву. Он хотел об этом спросить, но холодный сладкий наркоз, прохладный пьянящий эфир запечатал уста, залил зрачки голубым стеклом.

– Что поделать, Виктор Андреевич, милая вашему сердцу империя рухнула, – тонко мучил Ловеико. – И поверьте, мне ее тоже жаль, ведь я был ее частью. Но, может, не следует убиваться? Останется память, образ, культура империи, как было с Египтом и Римом. Ведь ее, согласитесь, нельзя было сохранить. Нельзя было целиком, во всем непомерном объеме перенести в новейшее время, включить в новый объединенный мир. Ее надо было разломить на несколько ломтей и собрать заново, как собирают стекло в витраж. Если и эти ломти окажутся

велики, придется и их дробить. До городка, до уезда, до отдельной семьи и личности! Есть такая камнедробилка, и она уже запущена. Все, что не проходит по своему размеру, форме и качеству, перемалывается в пыль, в труху, в пудру. И это трагедия. Чтобы уменьшить страдания, чтобы переход континентов, народов, мировых систем в новый режим и порядок происходил безболезненно, нужны огромные знания, ваши знания в том числе, Виктор Андреевич. «Организационное оружие», как вы его называете, есть новейшая культура, способная без применения разрушительных боевых средств достичь победы над могущественным противником. Советский Союз распадается, но остается Китай, Индия. У Атлантического проекта на весь двадцать первый век сохранится противник. Ваши идеи, Виктор Андреевич, должны служить объединению человечества. И не дай бог они попадут к китайцам, или к индусам, или к северным корейцам! Не дай бог ими воспользуется мусульманский мир!

Белосельцев понимал, что перед ним враг, любезный, умный и вкрадчивый, следивший за ним эти годы, не пропускавший ни слова его, ни поступка. И теперь он берет его в плен, диктует свои условия, и надо очнуться, собрать последние силы, вышвырнуть его за порог. Но он сидел, оцепенев, словно в эфирной маске, надышавшись голубого холодного яда, и коробка с бабочками развернула перед ним свой солнечный, заиндевелый витраж.

Белосельцев понимал, что пойман. Явившийся к нему человек знал о нем все. Нет смысла бороться, а нужно уступить и смириться. Сберечь своих близких, свою рукопись, драгоценную коллекцию бабочек. Борясь с наркотическим сном, сквозь голубую льдину, запаявшую рот, он спросил:

– Это случится скоро?

– На днях.

– Что сделают с руководством армии?

– Их отсекут.

– А партия?

– Она будет бездействовать.

– Как это будет?

– Посмотрите внимательно схему, которую вы утром показывали Глейзеру.

– Я должен сообщить Чекисту, Зампреду, Партийцу!

– Они не поверят. Они верят другому лицу и пойдут за ним.

– Я не стану с вами сотрудничать. Буду бороться.

– Нет смысла. Мы уже победили. У нас есть средства вынудить вас к сотрудничеству. Вы не один. У вас есть мать, есть любимый племянник, есть женщина, которой вы дорожите.

– Уходите!

– Я ухожу. Не сомневаюсь, Виктор Андреевич, мы станем работать вместе. Ученые вашего уровня – самое ценное, что породила евразийская почва. Да, совсем забыл. Вот приглашение на вернисаж, в галерею. Помните, мы в Вашингтоне любовались на Энди Уорхола? Там будут важные люди, – он мягко поднялся с кресла и направился к дверям. Белосельцев услышал чмокающие удары о пол. За Ловейко остался след, вбитые по шляпку стальные заклепки, уводившие через порог в коридор и дальше, в секретный бункер.

* * *

Люди, посещавшие его один за другим, казались знакомыми. Но их внешность была обманчива. Их лица были созданы серией пластических операций, голоса подобраны в результате прослушивания фонограмм, суждения явились следствием тщательных наблюдений за теми, кого они подменили. Они были сконструированы в особой лаборатории двойников и нацелены на него, Белосельцева.

Быть может, это были вовсе не люди, а существа наподобие дрессированных дельфинов. Их выпускали из аквариумов, облакали гладкие, сверкающие тела в пиджаки и брюки и направляли к нему в кабинет. Каждый имел свой особый прибор наблюдения, оптику, светофильтры, детекторы лжи, аппарат по считыванию мыслей, устройство по угадыванию намерений, чуткие сенсорные датчики, теменное око, владел гипнозом, даром ясновидения. Они оставались в кабинете определенное время, исследовали объект, рассекая его невидимыми лучами, фотографируя послойно полушария мозга, создавали голографические образы его представлений, а потом уходили. Возвращались в аквариум, где умелые операторы отбирали у них датчики с информацией, совлекали с их утомленных тел человеческое платье, отпускали обратно в воду, наградив сочной серебряной рыбиной.

В этой мысли утвердил его очередной посетитель, чье появление сопровождалось вибрацией пространства, словно в жидкий воздух, как в воду, кинули камень, и стеклянные волны побежали по кабинету, с тихим плеском ударили в лицо. Вошел молодой человек в джинсах, в расстегнутой замшевой куртке, с маленькой сумочкой через плечо. Сквозь струящийся воздух виднелась круглая, коротко стриженная голова, оттопыренные красно-прозрачные уши, чуткий, с длинными прорезями нос. Телевизионный журналист Зеленкович стоял у порога, радостно улыбаясь, с подкупающей наивностью полагая, что его появление желанно в каждом доме, в каждой семье или офисе.

– Мы как-то договаривались, Виктор Андреевич, вы мне давали визитку, и вот я решил воспользоваться...

Белосельцев всматривался в визитера, желая с первых секунд определить тип прибора и конструкцию датчика, которыми было оснащено существо, характер излучения, которым пользовался дрессированный дельфин в джинсах. Красные, светящиеся насквозь уши были источниками гамма-излучения. В прорезях носа клубились едва заметные электромагнитные вихри. Сумочка была полна самописцев, фиксирующих сейсмические колебания. И сам визитер был наполнен нетерпеливой, избыточной энергией, словно внутри него работал и кипел миниатюрный реактор. – Еще вчера вас пытался найти, пригласить в нашу передачу, но безрезультатно. – Зеленкович осматривал кабинет, словно уже получил согласие на съемку и выискивал удобные точки и ракурсы для телекамеры. Расчерчивал комнату от дверей к стене, от окна к столу. На деле же протягивал невидимые нити лазерных лучей, помещая Белосельцева в незримую клетку, улавливая его в тенета, из которых было невозможно уйти. – Внизу, у подъезда, машина с аппаратурой. Дайте, пожалуйста, короткое интервью в нашу экспресс-передачу. По поводу вашей статьи о возможности военного переворота. Прогнозы, оценки. Пять минут, не больше.

Зеленкович был из команды молодых телеведущих, запустивших телепрограмму «Миг», в которой умело, с блеском, используя новейшие информационные технологии, уничтожались репутации известных советских политиков, военачальников, деятелей культуры. На студию, в открытый эфир приглашались вельможные сановники, напыщенные и косноязычные, не привыкшие к диалогу, не знающие законов публичной политики. Их освещали яркими лампами, как на допросе у следователя. Выпускали молодых, ироничных, виртуозных журналистов, которые начинали покусывать и подраивать неуклюжую жертву, все больнее и больнее, доводя ее до иступления, провоцируя истерику, заикание, беспомощность. Показывали огромной телеаудитории заскорузлость и убогость их мышления, неосведомленность, угрюмый консерватизм. Отпускали опустошенного, измученного партийца или генерала. В знак своего торжества врубали авангардную рок-группу, где в бурлящем кипятке молодого протеста варилась ободранная тушка очередного оскопленного консерватора.

– Вы в самом деле полагаете, что я посвящен в план военного переворота? – Белосельцев старался быть предельно осторожным и точным, чтобы не задеть тончайшие лучи, проходящие над его головой, помещающие его в прозрачную лазерную клетку.

Явившийся к нему человек был охотником, одержимым страстью, погоней. Он охотился за образами, отнимал их у пойманных жертв, передавал в свою магическую лабораторию «Миг», где этот образ трансформировался, превращался в клише, получал отпечаток дегенеративности и стерильности и возвращался владельцу. Теперь этот «охотник за образами» пришел к нему. Готовился соскоблить с него лик, напялить на окровавленное, с содранной кожей лицо целлофановую маску.

– Никто не утверждает, Виктор Андреевич, что вы напрямую связаны с заговором. Так ставить вопрос некорректно. Но зато известны ваши тесные связи с виднейшими государственниками, от которых, как мы чувствуем, исходит некая угроза. Вы, аналитик, ученый, знаете больше других.

Журналисты программы «Миг» использовали телевизионные технологии, которые Белосельцев называл колумбийскими. Они были почерпнуты из американской информационной стратегии, разработанной в недрах идеологических и разведывательных служб. С их помощью воздействовали на подсознание, на инстинкты, на дремлющие архетипы, будили их с помощью музыки, ритма, древнего иероглифа, оккультного знака. Используя двадцать пятый кадр, запуская в видеоряд моментальные изображения мертвой головы, изуродованного тела, раздвинутых промежностей, отвратительного чудища, можно было пробуждать в человеке древние страхи, животные похоти, лютую ненависть, гипнотическую протрацию. Включая грохочущую ритмическую музыку яростных рок-групп, вводя зрителя в транс, ему тут навязывались разрушительные представления об обществе, семье, смысле жизни, после чего целые сословия становились в оппозицию к власти, молодые супружеские пары начинали испытывать друг к другу отвращение, а пожилые люди, выигравшие войну, вешались.

Эмблемой программы «Миг» была таинственная, цвета осенней луны голова, с загадочным вздутием на темени. Она действовала на Белосельцева как цепенящая и опасная сила, приплывшая в земное бытие из потусторонних глубин мироздания. Он пытался объяснить ее значение, искал в источниках ее происхождение, пока не обнаружил в древнеяпонском трактате описание, из которого следовало, что это вселенский Дух Зла, а загадочное вздутие на темени – жаба, символизирующая космическую ненависть.

Зеленкович, нетерпеливый, развязный, обаятельный, чувствовал себя хозяином кабинета.

– Так вы позволите подняться оператору, Виктор Андреевич? Мы не отнимем много времени. Несколько слов о заговоре. – Ему никогда не отказывали. В его программу послушно, словно их вели на заколдованной ленточке, приходили умудренные лидеры партии, прославленные стратеги Генштаба, создатели советских киноэпопей и романов. И все они умирали на глазах у зрителей, когда над ними всходила лунно-синяя голова злого восточного божества.

– Вы угадали. – Белосельцев боролся с ощущением легкого ожога, которое причиняли ему на расстоянии прозрачно-красные уши гостя. Заслонялся от темных продолговатых прорезей в носу Зеленковича, работавших как электромагнитные облучатели. – Действительно, истоки заговора здесь, в моем кабинете. Здесь готовятся будущие декреты и воззвания к народу. Здесь хранятся списки тех, кто подлежит интернированию. Отсюда в «час Икс» двинутся танковые колонны, занимая перекрестки в Москве. Отсюда на броне пойдут захватывать аэропорты, почтамты, телевизионные центры подразделения спецназа. Вон там, на полке, в синенькой папочке – список газет, подлежащих закрытию. А в той, красненькой, – перечень тридцати виднейших демократов, которых поместят на военную базу в окрестностях Москвы. А вон в той, изумрудно-зеленой, на папиросной бумаге, на трех языках начертано имя диктатора. В шкафу, прислушайтесь, в режиме приема-передачи круглосуточно работает рация. На связи – командующие округов, обкомы партии, областные управления КГБ. Может быть, в самом деле рассказать об этом перед вашей телекамерой?

На секунду лицо Зеленковича изобразило изумление. Он поверил, глаза его испуганно и жадно оглядывали шкаф с работающей рацией, разноцветные папки с именами политических заключенных, среди которых, разумеется, было и его, Зеленковича, имя. И лишь секунду спустя понял, что Белосельцев зло пошутил.

– Блистательная шутка, Виктор Андреевич! Жаль, что нет телекамеры! Записал бы я вашу шутку и выдал в эфир! Заставил бы ужаснуться всю честную публику! Вы удивительный человек, Виктор Андреевич, – Зеленкович не льстил, а выражал неподдельный восторг. – Ваша монография о колумбийских технологиях, выпущенная для служебного пользования, зачитана нами до дыр. Мы учимся на ваших примерах. Именно поэтому мы не решались приглашать вас в нашу программу, ибо понимаем, что все наши приемы и ухищрения будут вами разгаданы, и вы выиграете баталию. К тому же мы вовсе не желаем нанести вам поражение. Хоть вы и противник, но благородный, достойный, и мы мечтаем иметь вас в союзниках.

Белосельцев вслушивался, надеясь разгадать тайную программу нового гостя.

– Вы так не похожи на своих идеологических товарищей, так выделяетесь из их серой массы. Эти ваши советские индюки ни на что не годны. Кажется, они поражены инстинктом смерти. Когда приходят к нам на передачу покрасоваться своими лампасами, орденами и титулами, они искренне верят, что народ ими любит. Не чувствуют, как они глупы, смешны, порой отвратительны. Воображают, что овладели умами, а на самом деле уходят из студии, неся под мышкой свои отрубленные головы, кто с лысиной, кто с генеральской кокардой. Им кажется, что они управляют партией, культурой, армией. «Борис, ты не прав!», «Учение Маркса бессмертно, потому что оно верно!», «Экономика должна быть экономной!», «Великая историческая общность – советский народ!». Не догадываются, что лучшая часть партии уже не с ними, а с нами. В экономике правят теневики, а не Госплан. «Советский народ» похоронен во время тбилисских и бакинских событий. Когда ваши генералы и члены Политбюро выведут на улицу войска, экипажи танков будут петь песни Цоя, а офицеры по рации станут цитировать академика Сахарова. Все, что смогут сделать кремлевские индюки во время своей краткосрочной и нестрашной диктатуры, – это показать по телевидению оперу «Иван Сусанин» или концерт народной песни.

Белосельцев не верил своим ушам. Он словно подслушивал тихие разговоры старцев в «Золоченой гостиной». Болтливый Зеленкович прокручивал ему запись бесед, в которых обсуждались сценарии заговоров, исследовались потенциалы сторон, готовились контрмеры.

– Тот, кого вы называете Магистром, успел до начала событий поставить умных, талантливых журналистов во главе газет и журналов. Насытить радио и телевидение одаренными и виртуозными специалистами, преданными нашим идеям. В первые же минуты диктатуры, когда танки загрохочут по улицам Москвы, их сожгут не из гранатометов, не бутылками с «коктейлем Молотова», а массированным информационным ударом, и танкисты пойдут сдаваться девушкам, которые под платьем не носят бюстгалтеров. Мы, журналисты, являемся истребителями танков. Мы – те, кто на развалинах империи СССР создаст свои телевизионные империи, для которых уже есть деньги, есть технические средства, есть теоретики и исполнители. Эти империи раскроются как огромные зонтики и накроют собой красные руины... Ну что, Виктор Андреевич, – меняя тон, становясь нагло-самонадеянным весельчаком, произнес Зеленкович. – Может, все-таки повторите на камеру вашу замечательную шутку про аресты, про диктатора? Про имя на трех языках. На каких? На русском, английском, китайском?

– На суахили, – усмехнулся Белосельцев, довольный тем, что успел зафиксировать оборвавшийся поток информации. – Как-нибудь в другой раз.

– Приходите к нам в студию. Разумеется, не в качестве подопытного барана, а как наблюдатель. Посмотрите, как мы работаем. Что-нибудь подскажете, посоветуете. Через несколько дней к нам явится интересный пациент. Маршал, как вы его называете. Приходите!

Зеленкович светился оптимизмом и неукротимой энергией, которую вырабатывал кипящий в его утробе портативный реактор. Его прозрачные уши просвечивали нежной алой мякотью. Ноздри жадно вдыхали воздух, словно он нюхал цветок. Молодое лицо было розовым от веселого возбуждения. Перед тем как уйти, он сделал взмах рукой, обрывая все лазерные струны, гася тончайшие, пронизывающие комнату лучи. Лик его вдруг потемнел, наполнился синим дымом, лунным мертвенным светом. На Белосельцева глянула каменными злыми глазами голова восточного бога, на макушке которого прилепилась жаба, раздувая от ненависти липкий зоб. Зеленкович вышел, и Белосельцев видел, как капала из него горящая сера, дымилась на полу синие ядовитые огоньки, указывая путь в потаенный бункер.

* * *

Рабочий день завершался. Поток говорящих дельфинов иссяк. Они вернулись в свой лазурный бассейн. С них сняли приборы слежения, отключили боевые системы, и они облегченно плескались среди голубого кафеля, принимая из рук дрессировщиков живую ставриду и скумбрию, доставленных с Черного моря. Белосельцев, опустошенный схватками, изнуренный в неравном состязании, подошел к окну, смотрел, как покидают институт сотрудники, растворяясь в золотистом свете накалившегося за день города. Увидел, как к подъезду подкатила черная встревоженная «Волга», расшвыривая бледные вспышки. Следом причалил длинный, словно из черного кварца, лимузин. Охранники, окружив машину, выпустили из нее маленького человека, в котором он, не умея разглядеть лицо с верхнего этажа, безошибочно, с радостно дрогнувшим сердцем узнал долгожданного визитера, – вот уже несколько дней обещанный визит откладывался, вынуждая Белосельцева один на один, без поддержки, сражаться с атакующим неприятелем.

В дверь кабинета с властным стуком, не дожидаясь позволения, вошли два охранника с крохотными микрофонами в ушах. Не здороваясь, оглядели холодными неверящими глазами все углы и стены. Один подошел к окну и задернул штору, что-то вполголоса сообщил на расстоянии незримому собеседнику. Оба, в черных костюмах, белых рубашках и галстуках, с легкими вздутиями на груди и подмышками, покинули кабинет, и тут же на пороге появился тот, кого оберегала недоверчивая охрана. Чекист, как называл его Белосельцев, могущественный руководитель госбезопасности, шел к нему, тихо улыбаясь, словно приносил извинение за неизбежную бестактность бесцеремонных телохранителей.

– Прошу меня простить, Виктор Андреевич, за то, что наша встреча дважды откладывалась. Мне пришлось срочно вылететь в Германию, улаживать ряд проблем, связанных с Хонеккером.

Он был маленький, хрупкий в плечах, с аккуратной бело-розовой, безволосой, круглой головенкой, на которой наивно сияли детские голубые глаза. Цветом кожи он напоминал китайскую фарфоровую статуэтку, аккуратно и любовно раскрашенную мастером эпохи Цин. Его тонкие, нежные пальчики с легкими вздутиями на концах напоминали лапки лягушонка, чутко щупающие листочки и водяные пузырьки. И трудно было поверить, что в этих некрепких, чисто промытых пальчиках сосредоточена колоссальная мощь величайшей в мире разведки, управлявшей глобальным конфликтом, как управляют подземными взрывами или сходом горных лавин.

Чекист подсел к столу, радостно озирая Белосельцева, который был изумлен внезапностью визита.

– В следующий раз мы повидаемся не в душном московском кабинете, а у меня на даче, и я вам покажу коллекцию моих садовых цветов, – Чекист говорил и улыбался так, словно каждое мгновение, каждое рождавшееся на губах слово доставляло ему наслаждение, и он вкушал всякую залетавшую в него молекулу жизни, выпивая ее медовую сладость. – Сотрудники,

возвращаясь из служебных командировок, зная мою слабость, привозят мне в подарок цветы. Недавно подарили куст джелалабадских роз – знак внимания Наджибуллы. И несколько белых лилий из тибетского монастыря вместе с трактатом о божественности белого цвета, написанным современным монахом.

Белосельцев чутко слушал, стараясь среди тихих шелестов знакомого голоса различить отдаленные раскаты грозной и опасной темы, ради которой он просил Чекиста о встрече и которая, как крохотное облачко у горизонта, медленно разрасталась в грозу.

– Бразильские орхидеи, привезенные с Амазонки, я не решился поместить на открытый воздух и оставил в оранжерее, в скорлупе кокосовых орехов, наполнив эти висящие горшки влажным тропическим мхом. Зато кадку с араукарией из Южной Африки я на время поставил в саду перед верандой, и мы будем вечером любоваться ею, попивая виски со льдом.

Белосельцев пугался этих эстетских суждений, которые могли бы украсить досуг двух стареющих эпикурейцев на какой-нибудь адриатической вилле. Ему начинало казаться, что разговор уже коснулся сокровенной тайны, ради которой он просил Чекиста о свидании. Но тот, опытный разведчик и конспиратор, чувствуя присутствие незримых соглядатаев, прибегает к иносказаниям, использует «язык цветов», употребляет один из древних шифров военной разведки, где цветы, их ароматы и расцветки означали кавалерийские дивизии, стенобитные орудия, маршруты войск, наименование крепостей, одаренность полководцев.

Чекист рассказывал о голубых гиацинтах Амстердама, которые посадил вокруг фонтана, а на деле речь шла о ликвидации афганских полевых командиров в районе Хоста силами спецподразделения «Альфа». Он увлекся повествованием о египетской магнолии, которая впервые зацвела в его подмосковном саду, но это означало, что агент, внедренный в английскую Ми-6, добывает бесценные сведения о Шестом американском флоте. Он описывал цветение крокусов, присланных из Сан-Суси под Потсдамом, но это означало неудачу усилий по обвалу Сингапурского банка и приостановку валютных спецопераций в Тихоокеанском регионе.

– Ну что, одолели? – спросил он внезапно Белосельцева, поводя круглыми, похолодевшими вдруг глазами, указывая ими на стены, потолки, зашторенное окно, где еще, казалось, висели гаснущие струнки лазерных ловушек. – Сколько было сегодня?

– Пять, – сказал Белосельцев.

– Я знаю, это утомительно. Рептилии, оснащенные сенсорными датчиками и аппаратами угадывания мыслей, способны свести с ума любого. Но вы прекрасно держитесь. Потерпите еще немного.

– Дело не во мне, – Белосельцев вдруг заторопился, испугавшись, что время, отпущенное на встречу, бессмысленно тает. – Вы знаете, я отошел от оперативной работы. Сосредоточился на научной аналитике и экстравагантных теориях, которые, к сожалению, имеют у практиков слишком малый спрос. Но именно благодаря этим теориям у меня складывается многомерная картина грядущих драматических событий, о которых я должен вас предупредить.

Чекист смотрел на него внимательными сочувствующими глазами, за годы их знакомства не утратившими своей наивной, детской голубизны и напоминавшими глаза бело-розовой куклы, которые могут вдруг закатиться белками внутрь, и тогда он заснет сидя или на ходу, за секунды восстанавливая силы. Так они сидели когда-то в шатре афганских белуджей, на пыльной кошке, перед дымящимся пловом, и темный, морщинистый, как чернослив, туземный вождь, наливая им в стаканы теплую водку, выторговывал очередную поставку оружия. В проеме шатра белесо и раскаленно светила степь, по ней окруженные пыльным заревом шагали верблюды, уныло звеня бубенцами. И тогда он впервые увидел этот мгновенный поворот глазных яблок, перевернувшихся внутрь зрачками. Хозяин зрачков, в темной шиитской чалме, замер, как истуканчик, не донеся до маленьких губ стакан с водкой.

– Противник наращивает активность, дестабилизирует ситуацию по десяткам направлений, блестяще используя «организационное оружие», в существование которого наши высоко-

лобые эксперты отказывались верить. Снимая послойно идеологические доктрины и догмы, вбрасывая одну за другой иллюзорные цели, он отравляет общественное сознание, порождая в нем хаос и панику. Блокируя поставки товаров на потребительский рынок, изъывая из продажи водку, он сеет глухое недовольство в народе. Травмируя партию преступлениями тридцатых годов, насаждая сознание коллективной вины, он лишает ее воли, обрекая на распад и уныние. Бросая армию на подавление национальных конфликтов, делая ее виновницей пролития крови, добивается паралича комсостава, что обрекает войска на бездействие в «час Икс». Очевидно, что к началу осени сложится повсеместная неустойчивость, и противник спровоцирует ситуацию, когда малым толчком, ограниченными усилиями произойдет перераспределение ролей. Первый Президент, первый центр утратит власть, и ее перехватит Второй. Она перетечет в параллельный центр, и это будет сопровождаться распадом страны, ликвидацией общественного строя и гигантским геополитическим переделом, соизмеримым с мировой войной... Наша кремлевская власть удручающе старомодна, трагически бездействительна и бессмысленна. Ею двигают инстинкты, упование на грубую силу, слепая вера в инерцию. Ее обыгрывают постоянно. Она заблуждается относительно своих возможностей, чувствует опасность, готовится к жесткому действию, но, лишённая стратегии, непременно допустит роковую ошибку, и ее силовое действие использует враг, уничтожив ее, а вместе с ней государство и строй.

Бело-розовый фарфоровый истуканчик безмятежно смотрел фиалковыми голубыми глазами. И было неясно, что внутри у этой статуэтки – живое сердце, с пульсирующей капелькой крови, или затейливая пружинка, соединенная с зубчатым колесиком.

– Все это время я размышляю, кто у противника является ведущим стратегом? В чьих руках находится «организационное оружие»? Кто неуклонно, не допуская ошибок, ведет наступление по всем направлениям, готовя завершающий толчок, после которого сойдет лавина; а когда пыль осядет, мы будем жить в другой стране, с другим названием, другой элитой, а от нашей красной империи, которой мы с вами служили, останется пара расколотых рубиновых звезд. Кто этот суперстратег? Кто Демидур катастрофы?

Чекист бесстрастно молчал. Глаза его опрокинулись белками в глубину дремлющего черепа, закрытые розоватыми фарфоровыми плошками, и он спал несколько минут, черпая энергию из теплых дремотных глубин. Белосельцев не мешал этому скоротечному сну, вспоминая одну из последних встреч, когда вернулся из Никарагуа, едва исцелившись от приступа тропической малярии, и Чекист выслушивал его аргументы о невозможности переброски в Манагуа кубинского полка «МиГ-21», что привело бы к немедленной большой войне в Центральной Америке.

Это воспоминание посетило Белосельцева, а когда кануло, Чекист внимательно смотрел на него отдохнувшими голубыми глазами, нежными, как небо после теплого ливня.

– Я и сам раздумываю, Виктор Андреевич, кто этот Демидур, как вы его называете. Если заподозрить в вероломстве Первого, то оно налицо, но не столь рафинировано, чтобы управлять всей кибернетикой заговора. Он, конечно, хитер, двусмыслен, этот аппаратный игрок, но у него интеллект комбайнера и культура партийной номенклатуры. Если предположить, что им является Второй, то это еще невероятней. Он свиреп, властолюбив, беспощаден, наполнен неукротимой энергией, но примитивен, способен лишь на грубые комбинации и понятия не имеет, что такое, как вы говорите, «организационное оружие». Быть может, Демидуром является хромой Магистр? Он бесовски хитер, оснащен колумбийскими технологиями, знает общество в его уязвимых, больных проявлениях. Ему принадлежат многочисленные комбинации по созданию сепаратистских народных фронтов. Он расставляет свои кадры на телевидении и в газетах. У него обширные зарубежные связи, и он, по нашим сведениям, завербован английской разведкой. Но и у него недостаточен опыт и интеллект, чтобы вести управление катастрофой. И либо вообще не существует такой персоны, и Демидуром является коллективный разум, или, если угодно, электронный сверхинтеллект, либо этот малозаметный человек глу-

боко законспирирован и носит личину скромного функционера какой-нибудь межрегиональной группы или тихого кликуши из общества «Мемориал».

– Верните меня на оперативную работу! Мы давно знаем друг друга. Я вам безраздельно верю, обязан вам жизнью. Вы могли проверить меня в самых жестоких переделках. Я не засвечен, уже несколько лет как отошел от разведки. У меня контакты во всех слоях общества, включая культуру и церковь. Верните меня на оперативную работу, и я узнаю, кто Демиург, где расположен бункер с «организационным оружием», где, в какой «Золоченой гостинной» собираются старцы. – Белосельцев испугался, что, используя свои экстравагантные термины, он насторожит Чекиста, который усмотрит в нем романтического фантазера. – Прошу, верните на оперативную работу!

– А вас вернули. Вы на оперативной работе. Я приехал, чтобы вам об этом сказать.

– Как?

– Мы запустили врагу информацию, что вы в игре и посвящены в кремлевский заговор. Являетесь главным аналитиком предстоящего военного переворота. То, что вас атакуют, это следствие нашей работы. Мы привлекли к вам внимание противника.

– Зачем?

– Интерес к вам резко возрос. Ваши статьи читают американцы в посольстве и «Рэнд корпорейшн». Вами интересуется Магистр. О вас спрашивают оба Президента, Первый и Второй. – Чекист вращал в воздухе маленькими хрупкими пальчиками, словно крутил невидимое колесико, которое через систему валов, шестеренок и усилителей разгоняло невидимый маховик разведки, от которого сотрясались континенты, обваливались режимы, тонули подводные лодки, загорались восстаниями и революциями государства Азии, Африки и Америки. В этих изящных ручках находилось незримое веретено, запущенное когда-то Дзержинским, раскрученное, словно летящий над миром смерч, Берией, превращенное в сверкающую, с радужными отблесками фрезу Андроповым. Чекист, словно волшебный жрец, хранил и берег сокровенный ген разведки, управляя ее таинственным вращением. Разведка, как гороскоп, размещенный на летящем самолете государства, не давала ему сбиться с курса, вела к стратегической цели. – Считайте, что вас отозвали из действующего резерва и вернули на оперативную работу. Используя повышенный к себе интерес, вам надлежит проникнуть в среду противника, в законспирированный, как вы говорите, бункер, в секретную «Золоченую гостинную». Вы станете для противника своим и узнаете, кто является Демиургом. Мы нанесем упреждающий удар. Схема удара готова. Надлежит окончательно уточнить цели. Андропов знал, что в обществе, глубоко и скрыто, залегает грибница регресса. Он думал над тем, как ее выявить. Как спровоцировать противника, чтобы тот себя обнаружил. Перестройка и есть провокация по вскрытию глубоко законспирированной агентуры. Теперь все на виду, дело остается за малым.

Такие фарфоровые божки, бело-розовые истуканчики украшали кабинеты китайских императоров и вельмож, и если их слегка колыхнуть, то фарфоровая голова начинала покачиваться, круглые синие глаза начинали мигать, а внутри раскрашенного туловища раздавалась тихая мелодичная музыка. Белосельцеву казалось, что он слышит эту чудную музыку сложнейшей комбинации, задуманной в недрах интеллектуальных центров разведки, к которым он себя причислял. Избранные, посвященные, проверенные великим служением, они, разведчики, управляли ходом истории, исправляли ее дефекты, восстанавливали неумолимый маршрут, которым двигалось «красное государство», созданное Вождем.

– Через несколько дней я приглашу вас к себе на дачу. Соберутся известные вам политики, которых именуют кремлевскими консерваторами. Те, кого вы помещаете в один из «подкопов», вменяете им один из заговоров. Я хочу вас представить. Хочу показать им, что вы близки мне. Вы войдете с ними в контакт, оцените их возможности, увы, весьма невысокие. Постарайтесь им помочь, окажите им интеллектуальную поддержку. В «час Икс» вы понадобитесь как посредник между двумя центрами, первым и параллельным.

– Мне уготована роль двойного агента?

– Тройного. Ибо непосредственно вы будете связаны только со мной. А тех и других рассматривайте как объекты, о которых вы собираете информацию. Пока все. Мне надо ехать. Боюсь, что мой садовник так и не выставил на воздух кротон, подаренный Арафатом. За всем нужен глаз да глаз.

Чекист поднялся и словно породил слабую вибрацию воздуха, на которую откликнулись снаружи охранники. Раскрыли дверь, просунув в кабинет выпуклые, колесом, груди в одинаковых рубашках и галстуках. Фарфоровый божок прошел мимо них, переступая порог маленькими, точеными туфлями, и исчез. Белосельцев машинально искал, какой он оставил след. Но между подошвами и паркетом оставался тонкий солнечный слой воздуха. Чекист прошел не касаясь пола, не оставив следов.

Часть I

Прозрачные маги

Глава первая

Мастерская размещалась в каменном подвале, среди старых доходных домов и товарных складов, по соседству с Кремлем. Поблуждав среди подворотен и тупиков, Белосельцев толкнулся наконец в высокую, грубо крашенную дверь и оказался в ярко освещенном пространстве, напоминавшем округлый туннель, в котором, удаляясь, уменьшаясь, пребывало множество предметов, картин, непонятных изделий, живых людей, манекенов, мигающих ламп, тарелок с едой, пустых и полных бутылок. В лицо ударил запах еды, вина, духов, сигарет и еще какой-то особый смешанный аромат лаков, пластмасс и древней каменной затхлости лабазов и лавок.

Тут же, у порога, словно поджидая его, стоял Ловейко. Стройный, сухощавый, он холодными глазами вцепился в него, насаживая на тонкую светящуюся спицу. Рядом с ним стоял бородатый субъект в атласном пиджаке, чем-то напоминавший эстрадного фокусника. На его мертвенном, бело-синем лице ярко и воспаленно краснели влажные губы. Он держал бокал в худых пальцах, на одном из которых чернел тяжелый, как спелая слива, перстень.

– Милости просим, Виктор Андреевич, – с радушием хозяина приветствовал его Ловейко. – Я только что о вас говорил господину Шулику. Концептуализм, как утверждает Шулик, есть скрытая сущность явлений, непосредственно выраженная в творческом акте и разложенная в иерархический ряд... Я правильно вас понял? – Ловейко обратился к бело-голубому субъекту. – А я ему отвечаю... Я знаю лишь одного концептуалиста, Виктора Андреевича Белосельцева, который сейчас придет и который действительно умеет распутывать разнородные клубки и заговоры и выявлять сущность... Все, что вы видите, – Ловейко повел вокруг недопитым бокалом, – это пустяки, неталантливые капризы на утеху богачей. Хотя я и присматрел пару холстов без особых скабрёзностей и куплю их для моего нового офиса...

– Шулик, – представился Белосельцеву человек с перстнем, озирая его медленным изучающим взглядом. Белосельцев почувствовал, как что-то вдруг стало охлаждаться в его лице, в глубине висков и глаз, словно тело начало остывать. Зрачки человека высасывали из него тепло, и добытые таким образом калории делали его губы красными и цветущими. – Моя мысль сводится к следующему. Знание о предмете можно достичь через интеллектуальное усилие, познание, выявляя закон предмета. Но при этом теряются тонкие энергии, не укладывающиеся в закон. Или же предмет можно понять интуитивно, через вторжение, как при половом акте, и тогда вся энергия предмета окажется усвоенной.

– Он трахает свои натюрморты, – цинично улыбнулся Ловейко. – Поэтому у них слегка потраханый вид.

Шулик не обиделся. Черный атласный пиджак плотно сидел на его сухощавом теле. Лицо было белой маской. Черный перстень на голубоватом пальце отражался в бокале с вином. И весь он был похож на факира, на мага, готовый к фокусам и чудесам. Белосельцев чувствовал, как все холоднее становится его скулам, лбу и глазам. Губы Шулика были в чем-то сладком и липком, как в варенье.

«Не является ли этот подвал со сводчатым заплесневелым потолком маскировкой, скрывающей интерьер «Золоченой гостиной» с овальным столом и ампирами стульями, на которых восседают величавые старцы, управляющие ходом истории. Не мелькнет ли среди экзотических гостей тот, кто выдаст себя огромным наморщенным лбом, могучими надбровными дугами, под которыми угрюмо пылают всевидящие глаза Демиурга», – думал Белосельцев,

оглядываясь вокруг. Но ничего похожего не видел. Ровно, вязко двигались гости вокруг столов с закусками и выпивкой. Мерцали блицы. Играла тягучая музыка. И не было тех, кого задумал уничтожить Белосельцев. Но он ждал их появления.

– Все, что вы здесь видите, это робкие формы! – Шулик указал на развешенные картины, отмечая их перстнем. – На потребу иностранцев или наших чиновников, глотнувших за границей авангарда. Не обижайтесь, – строго и мертвенно он посмотрел на Ловейко. – Настоящий концептуализм Москве еще неизвестен. Он еще впереди. Впереди – огромный распад, гниение, разложение. Умирает советское чудище, и его труп, выброшенный на берег истории, начинает смердеть. С него слезает кожа, опадают куски тухлого мяса, вылезают голые ребра. Это время большого искусства. Дохлое чудище и клюющие его птицы, шакалы, жуки, черви, тысячи трупоедов – все становится объектом искусства. От радужной пленки гниения до розовых чавкающих внутренностей, в которые вцепились клыки и клювы. И этот концептуализм распада будет принадлежать нам, художникам сдохшей империи. Никто другой в мире не сравнится с нами в изображении этого грандиозного труп.

Он был бледен прозрачной голубизной. В его лице лунный лед. Губы были в липком красном веществе. Поклонился, худой, в атласном узком в талии пиджаке, похожий на чародея, и отошел.

– Он замышляет здесь какое-то представление, – с почтением посмотрел ему вслед Ловейко. – Ждут именитого гостя. Хорошо, что вы пришли, Виктор Андреевич. О вас спрашивали, вас хотят увидеть, – Ловейко зорко осматрелся, опасаясь соглядатаев. – Вам представится уникальная возможность, не пропустите!

Посреди мастерской стоял белый открытый рояль, приготовленный для игры. Рядом с роялем на полу, неизвестно для чего, была расстелена клеенка и круглился эмалированный таз. Тут же висела картина, на которой пьяный босой генерал с лампасами держал на руках полуголую девку, и та отковыривала звезду с его золотого погона.

Дальше среди малопонятных скульптур, склепанных из зубчатых колес, стоял фарфоровый расколотый унитаз с остатками рыжей грязи.

На стене, занимая пространство до потолка, висела композиция, сделанная из целлофановой пленки, напоминавшая огромный кишечник. Далее следовала серия ярких, раздражающе пестрых полотен, с изображением женских и мужских гениталий.

Двигаясь вдоль экспозиции, рассеянно рассматривая бесформенные изваяния и невнятные сюжеты картин, он вдруг нашел то, что искал. На маленьком сервированном столе, окруженное ножами и вилками, стояло блюдо, и на нем, политая майонезом, в колечках лука, посыпанная петрушкой, лежала черная чугунная гантель. Табличка извещала, что все это, вместе взятое, называется «Ужин № 5».

Снаружи послышался шум. Дверь распахнулась, и в мастерскую повалили дюжие молодцы с толстыми шеями, бритыми затылками и плохо упрятыми кобурами. Они бесцеремонно вдвинулись клином в пеструю толпу гостей, раздвинули ее, образуя горловину, и в расчищенный, обезвреженный коридор вслед за охраной вступил невысокий, прихрамывающий человек, лысоватый, добродушный и ласковый, облаченный в костюм и жилетку, под которой уютно круглился животик. Улыбался, весело моргал умными коричневыми глазками примата, и казалось, хромая, он упирается в пол стиснутым кулаком волосатой обезьяньей руки. Волосы у него были редкие и жесткие, как на стволе старой пальмы. И была в нем странная смесь легкомысленного добродушия и беспощадной жестокости.

Едва появился этот высочайший гость, как все присутствующие прервали свои разговоры, отложили тарелки, оставили недопитые рюмки. Жадно потянулись к вошедшему. Выстраивались, подвигались, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Хромоногий визитер милостиво улыбался, позволяя любить себя, расточая вокруг щедрое, адресованное сразу всем благодущие.

Захваченный общим стремлением, вытягиваясь вместе с другими в живую очередь, Белосельцев узнал Магистра, главного реформатора. Приближенный к Первому президенту, оказывающий услуги Второму, он был тем советником, что обслуживал сразу оба центра власти, управлял конфликтом, умно и осторожно вел Первого к поражению. Инициировал множество оригинальных процессов, разрушавших страну. Мutil и обессиливал партию. Способствовал сепаратистам в Грузии и Прибалтике. Умно, с помощью верных журналистов вел телевизионную и газетную пропаганду, превращая в смешные карикатуры недавних кумиров страны. Вбрасывал в захмелевшее от свобод общество лозунги: «Европа – наш общий дом!», «Демократизация и гласность!», «Социализм с человеческим лицом!» – каждый из которых уничтожал то Варшавский договор, то систему государственного централизма, то культовые основы советской истории.

Едва увидев Магистра, Белосельцев понял, что именно его ожидал здесь найти. Вот он – Демиург, могучий и лукавый, всеведающий и ясновидящий, обольстительный и ужасный, распространявший свое волшебство на каждого, кто попадался ему на пути. Белосельцев, ненавидя, готовый убить, одновременно испытал на себе действие его чарующей власти.

Журналист-аграрник пожимал Магистру руку, не отпускал, старался продлить прикосновение к пухлым вялым пальцам, словно впитывал кожей исходящую от руки прану. Его выпученные глаза обожали, по-женски любили, сочились елеем:

– Я был на презентации вашей книги и, поверьте, давно не испытывал такого ощущения праздника!

Магистр милостиво кивал, прощал соратнику эту невинную лесть. Он не смотрел на журналиста и кого-то искал в толпе.

Женщина-депутат, похожая на раздраженного индюка, надвинулась всей своей тучной плотью, словно старалась прижаться к Магистру, пометить его прикосновением, запахом, отпечатком выпирающих сквозь платье сосков. Сделать его, хотя бы ненадолго, своей собственностью. Ее мясистый свисающий нос от возбуждения и прилива крови стал сизо-лиловым.

– Вы помните, я говорила, в подкомитете сидят одни шовинисты. Если мы хотим добиться решения по Латвии, мы должны действовать в обход подкомитета, опираясь на прибалтийских друзей.

Магистр улыбался и ей, не отстранялся от ее могучей, как утес, груди, от налитых конских бедер. И казалось, на секунду он вскочил на нее, оседлал, ударил пятками по разгоряченным бокам, и они, издавая крик индюка и ржание лошади, умчались в московскую ночь.

Генерал, круглый, наподобие колобка, обсыпанного белой мукой, ловкий и юркий, подкатился к Магистру, торопился высказать восхищение:

– Военные под большим впечатлением от вашего выступления в Академии. Ваши мысли о метафизике войны возвышаются до высоты Бердяева. Мы не привыкли к такому уровню разговора. Но я думаю, для американских аудиторий это было бы нормально!

Магистр кивал, соглашался, перебегал глазками с одного лица на другое. И вдруг увидел в толпе Белосельцева. Его глаза дрогнули, словно фары переключились с ближнего света на дальний. Лучистые лампадки превратились в два холодных ртутных луча. Они зафиксировали его и погасли, вновь превратившись в теплые лучистые площадки.

Священник, похожий на сердитого козлика, тряс рыжей бородкой, горбил костистую спину, заходил мелкими смешками, от которых топорщились у висков рыжеватые упрямые рожки.

– Я бы вам посоветовал, уж простите мою навязчивость, появиться перед телекамерами в окружении церковных иерархов. Может быть, в Троице-Сергиевой или Оптиной пустыни. Пусть люди поймут, что вы значите для современного православия. И сразу отпадет половина этих дурацких наветов, обвинений в масонстве.

Магистр соглашался, поощрял кивками священника, как учитель поощряет старательного, но не слишком способного ученика. Сам же смотрел на Белосельцева, словно приглашал подойти поближе.

– А ведь, пожалуй, вы правы, отче! – произнес Магистр. – Меня пригласил владыка посетить Оптину. Я, пожалуй, поеду. Ведь журналисты не знают, что именно я выступаю за восстановление Оптиной, за передачу храмов церкви, за открытие монастырей. Зато запустили слух, что я масон, русофоб, отказываю России в самобытном пути развития. Ну какой я масон? И кто их видел, масонов? Но кому-то нужно, чтобы я был масоном. Поеду в Оптину, пусть люди увидят, кто не на словах, а на деле содействует возрождению церкви!

Он говорил полушутя, разыгрывая обиду на тех, кто распускает о нем недобрые слухи, пытается поссорить его с народом, что на самом деле невозможно. Ибо народ давно разобрался, кто его друг, а кто недруг. Кто, подобно масонам-большевикам, разорял православные храмы, а кто теперь, с наступлением демократии, способствует их возрождению. Его ирония, его театральность были адресованы Белосельцеву, который все больше убеждался, что перед ним Демиург, всепроницающий, всеведущий и всеильный.

– Видимо, наше национальное сознание, – продолжал Магистр, – предрасположено во всем видеть заговор. Нам неинтересно, нестерпимо искать объяснения в закономерностях жизни. Мы объясняем историю проявлением злокозненной воли, замыслами заговорщиков и злодеев. Это или масоны, или евреи, или иностранные шпионы. Вот и теперь в обществе сеется новый миф о каком-то заговоре, о подкопе, который подрывает устои. Внушается мысль, что действует кучка умных злых заговорщиков, задумавших погубить государство. И ведь что удивительно! – Магистр прямо через головы других обратился к Белосельцеву: – Даже самые умные, проницательные готовы уверовать в заговор. А на самом деле просто власть одряхлела, партия выродилась, станки на заводах состарились, люди изверились, воров и врунов развелась тьма-тьмущая, новые поколения народились, и, глядь, мы уже в другом обществе, и нет никаких заговорщиков, а просто неукротимое движение матери-истории, для которой все мы – неразумные дети!

Он произнес это с такой изящной легкостью, что стоящие поблизости захлопали, а Шулик, в своем иссиня-черном камзоле,дохнул на огромный, как бычий глаз, перстень, отчего камень подернулся морозной дымкой:

– Вот именно, неразумные дети! Именно, мать-история! Каждая минута – историческая! Каждый миг жизни – ценность! Приглашаю вас, друзья, посмотрим экспозицию!

Все двинулись за ним следом, рассматривая картины, а он взмахивал плавно руками, похожий на черную летящую птицу. Его сюртук отливал синеватым вороньим оперением.

Белосельцев чувствовал, что умные, ласково-лукавые глазки Магистра подцепили его и тянут, влекут, приглашают. От них исходит напряженная властная сила, магическое очарование, таинственный магнетизм, которому невозможно противиться. Почти лишенный воли, он следовал за вереницей гостей вдоль стен туда, куда следовал прихрамывающий человек в жилетке. Кивал, восхищался, благодарно внимал бледнолицему факиру с красным бутоном губ.

«Вот сейчас, – в полузабытьи думал Белосельцев. – Сейчас будет блюдо с гантелью... Подойду и ударю...»

Они миновали картину с пьяным генералом. Обошли расколотый унитаз. Осмотрели женский портрет, где вместо глаз были возбужденные соски, а вместо губ – гениталии. Блюдо с гантелью приближалось. Белосельцев чувствовал, как слабеет, как лишается воли. Его мысли и намерения были прочитаны, и ему мешали совершить поступок. Примеривался для последнего шага, последнего движения руки, которым вырвет литую гантель из-под жидкого майонеза, опустит на лысеющий череп, между лукавых мигающих глаз. Уже потянулся, но у него на пути возник Ловеико, заслоняя блюдо:

– А вот эту картину, я уже говорил Виктору Андреевичу, я бы хотел купить и повесить в моем кабинете, – он обращался одновременно и к Магистру, и к Белосельцеву, сводя их вместе. – Ах, простите, я хотел вам представить, – стушевался он перед Магистром. – Мой давний товарищ – Белосельцев Виктор Андреевич!.. – и испарился, а вместе с ним улетучились остальные, словно их превратил в ничто чернокрылый факир. И они остались вдвоем в пустоте, как в безвоздушном пространстве. Белосельцев стоял перед ласковым человеком в жилетке.

– Это странное искусство, которое должно нам нравиться... Эта гантель под майонезом... Так и хочется ее схватить и шарахнуть кого-нибудь по лбу, – тихо смеялся Магистр.

Белосельцева не удивляла его проницательность. Демиург читал мысли, угадывал события, перед тем как им было суждено случиться. Опережая время, оказывался в будущем, создавал в нем такие условия, чтобы событие совершилось. Выкапывал в будущем лунку, из которого вырастало событие.

– Нам на веку выпала удивительная доля! Прожили огромную жизнь, заблуждались, жертвовали, ненавидели, проливали свою и чужую кровь и в итоге все-таки открыли главную истину. О единстве мира, единстве людей, о единстве всякой жизни. Хорошо бы остатки сил посвятить воплощению этого единства. Как разобрать барьеры и изгороди, построенные между народами? Как покончить с враждой и ненавистью, бессмысленной тратой исторического времени на войны и революции, на ложные идеалы и цели? Как соединить человечество в единую совершенную организацию, о которой мечтали лучшие люди земли?

Белосельцев слабо улавливал смысл произносимых слов. Он чувствовал, что на него воздействуют, его переделывают, переиначивают изнутри. Словно в мозг проникла мягкая теплая рука и лепила заново, как из пластилина. И это было не больно, почти сладостно, словно гибкие нежные пальцы размягчали жестокие узлы, запекшиеся кровоподтеки, окаменелые тромбы, и освобожденный мозг начинал струиться легкими сладостными переживаниями, как под маской с веселящим газом.

Выкатывая глаза и гримасничая, возник журналист-аграрник. Видимо, приготовил какую-то шутку, которая просилась на уста, щекотала их, и он облизывал их длинным, белесым языком. Собираясь принять участие в разговоре, но Магистр небрежно, слабым мановением, отослал его прочь, и тот жалобно откатился, прижав уши, подогнув хвост и виновато поскуливая. Они снова остались вдвоем, словно висели в прозрачной сфере, а под ними круглилась голубая Земля.

– У нас есть неограниченные финансы – крупнейшие банки мира делают нам отчисления. Есть разведка – лучшие агенты мировых спецслужб, в том числе и советских, работают на нас. Есть военная мощь – офицерский корпус, стратеги, военная технология обеспечат стабильность новой организации мира. Но главное наше богатство – мировая элита, «патриоты мира», как я их называю. Цвет человечества, оснащенный высшим знанием. Элита мира зародилась в глубокой древности, в библейские времена, от поколения к поколению, из рода в род хранила свой идеал. Подвергалась гонениям, почти исчезала, как было и у нас в эпоху свирепого сталинизма, но вновь возрождалась, продолжала трудиться. Соединяла человечество в единую организацию. В этой элите, меняющей сегодня магистральный курс человечества, каждый человек на учете, каждый ум, каждая просветленная воля. Вы принадлежите элите. Я знаю вас давно, слежу за вами, восхищаюсь. И вот вы пришли к нам. После всех колебаний, метаний, непомерных усилий ума вы сделали выбор – выбрали нас!

Белосельцев внимал как во сне. Глубоко внизу, туманная, окруженная нежной дымкой, голубела Земля. Он висел в безвоздушном пространстве, и рядом с ним в волшебной пустоте находился немолодой, тихо говоривший человек, которого он только что собирался убить, а теперь любил, берег, был готов повиноваться, следовать за ним, перемещаясь со скоростью звука в беспредельной пустоте, среди проблесков комет, метеоров. Звуки голоса были сладко знакомы. Черты лица напоминали тех, из фамильного альбома, кого он любил. Не понимая

смысла тихих речений, он хотел одного – чтобы они продолжались, чтобы длилось это освобождение, легкость, парение в невесомости.

– Люди, с которыми вы еще недавно были связаны, – Главком, Партиец, Зампред, – кажется, так вы их называете, эти люди ничтожны, не способны к решительным действиям. Их специально нашли и поставили на завершающем отрезке проекта. В решающий час они разбегутся, и их место займут другие, достойные. Вы – достойный! Самое дорогое – не деньги, не роскошь, не женская красота, не добро, а знания! Знание законов бытия обеспечивает власть. «Организационное оружие» – это власть. Я приглашаю вас во власть, в самый центр управления, откуда посылаются команды и в никарагуанскую сельву, и в небоскребы Манхэттена, и в афганские кишлаки, и в закрытые клубы Лондона и Амстердама. Вы с вашими знаниями примите участие в управлении глобальными процессами.

Толстенький лепечущий генерал, жарко краснея лампасами на коротких кривых ножках, подскочил было, что-то собирался произнести. Но Магистр грозно остановил его взглядом, и тот лопнул как мыльный пузырек, оставив в воздухе мутное облачко.

– Да, вы проникли в заговор. Аналитическими построениями обнаружили его формулу. Действительно, заговор существует. Он осуществится на днях. Не будет ни крови, ни взрывов, не будет убийств. Будет шум, толкотня, истерическая болтовня и галдеж. Будет страх, сумасшествие, и в этой кутерьме мы возьмем власть. Бескровно, гуманно вернем нашу многострадальную Родину в лоно истории. Приступим к осуществлению мирового проекта, где Отечеству нашему уготована великая роль. И я рад, что вы вступили в наши ряды! Конечно, работа, которую мы затеваем, не делается в белых перчатках. Это черное, жестокое, иногда кровавое, дело. А как же иначе? Меняются полюса Земли, сдвигается вектор истории, формируется единый центр мирового развития. Тут сила, жестокость и кровь! Ибо речь идет о самой сущности бытия. И всякий, кто покусится на эту сущность, будет безжалостно уничтожен! Я ничего от вас не скрываю. Через несколько дней мы будем жить в другой стране, в другом мире. Я приглашаю вас в наш штаб. Мы примем вас как соратника. Через несколько часов будет поздно. Дверь бункера будет завинчена изнутри, и все, кто остался снаружи, будут сметены ураганом!

В опустошенной груди Белосельцева пульсировала, билась кровинка, похожая на малый красный ромбик с фронтальной гимнастерки отца, который он хранил с самого детства как спасительный амулет. Теперь он хватался за этот ромбик, погружался в красный охранительный цвет, в кровавое тельце подлинной, а не мнимой жизни. И оно, горячее и бессмертное, переливалось в него из отца, спасло его. Наваждение закончилось, чары расточились. Белосельцев владел собой.

– Благодарю за доверие. Воспользуюсь приглашением и спущусь в ваш бункер, – с поклоном сказал Белосельцев, радуясь, что не поддавался обольщению. Стоящий перед ним человек принадлежал к высокой иерархии, был посвящен. Но он не был Демиургом, которого еще предстояло найти.

Внезапно заиграл рояль, бравурно, колокольню, раскатисто. За белым инструментом сидела худая рыжая женщина с декольте. Были видны розовые прыщики на ее плоской груди. Она била что есть мочи по клавишам, вскидывала зеленые кошачьи глаза, и волосы ее подымались под воздействием невидимого электричества.

На клеенку, на освещенный лакированно-белый четырехугольник двое полуголых атлетов вывели на цепях огромную хрюкающую свинью. На розовом жирном боку свиньи яркой красной краской было написано: «СССР». Такие надписи делали на дирижаблях, которые летали над конструктивистской Москвой. Шулик, с мертвенным голубоватым лицом, облаченный в атласный сюртук, сжимал в кулаке зеркальный блестящий нож.

– Многоуважаемые господа, – его голос звучал сквозь грохот рояля. – Сейчас вы увидите перформанс, факт современного концептуального искусства, в котором стирается грань между

иллюзией и действительностью, бытием и небытием, художником и зрелищем. Ближе, прошу вас, ближе!

Все сгрудилась у клеенчатого ковра, на котором топталась и хрюкала свинья. Водила по сторонам розовым рылом, моргала белесыми ресницами. Намалеванная красная надпись вздрагивала и трепетала на дышащем боку.

– Господа, СССР со своими неизживаемыми комплексами, своими свинскими противоречиями, своей тупой материковой историей, вот это животное! Комплексы и противоречия СССР невозможно ни развязать, ни распутать, а только рассечь!

Рыжая женщина за роялем исходила в экстазе, дергала тощими плечами, ломала клавиши. Шулик взмахнул ножом, упал на свинью, сильно провел ей ножом по горлу. Из раны двумя фонтанами ударила кровь. Обрызгала белый рояль, пианистку, ее худую открытую грудь. Свинья забилась в цепях, упала на бок, хрипела, свистела. Из разрезанного горла неистово хлестала кровь, заливала клеенку, пол, башмаки гостей. Шулик, перепачканный кровью, лежал на свинье, возил и возил в свином горле длинный красно-блестящий нож.

Белосельцев, расталкивая визжащих гостей, двинулся к двери. Отпихнул здоровенного охранника и, слыша за спиной рояль, свиной хрип, вопли и визги гостей, покинул подвал.

Глава вторая

Останкинская башня улетала в небо, превращаясь в тончайший металлический луч. Кирпичный храм тускло золотился крестами. Вдоль музейной усадьбы с воротами и каменными кентаврами шелестел автомобильный поток. Временами, странно и фантастично, среди машин появлялись старомодные кареты на огромных деревянных колесах, блестя слюдяными оконцами, запряженные шестерками лошадей. Сворачивали в ворота усадьбы, останавливались перед парадным крыльцом. Открывалась легкая дверца, и из нее, с помощью слуг и лакеев, выскальзывала нарядная дама, выпрыгивал верткий кавалер, спускался на землю грузный вельможа. Мелькали плюмажи, кружева, шитые золотом камзолы. Белосельцев, входя в усадьбу, искал, не вспыхнет ли аметистовым светом прожектор, не застрекочет ли кинокамера, не раздастся ли раздраженный и властный крик режиссера: «Стоп!.. Еще один дубль!..» Но нет, кино не снималось... Кучера отгоняли от подъезда опустевшие кареты. Слуги подбирали лопаточками конский навоз. Горели при входе граненые фонари на узорных деревянных столбах. Разряженный дворецкий в треугольной шляпе, в напудренном парике выставил вперед ногу в белом чулке, обутую в туфлю с золоченой пряжкой, в поклоне махнул по ступеням страусиным пером, приветствуя Белосельцева:

– Здравствуйте, батюшка Виктор Андреевич! Спасибо, что пожаловали! Милостиво откликнулись на смиренное приглашение... А то уж начали волноваться, не случилось ли чего по нынешним злым временам. Хотели было послать карету с караулом преображенских гвардейцев. Да вы, слава богу, сами, своей персоной, явились.

Белосельцев изумленно всматривался в разряженного, со страусиным плюмажем, дворецкого. И вдруг узнал в нем Трунько – веселый, насмешливый взгляд, плотоядные губы, золотое кольцо на быстрой хваткой руке. И все это – среди пышного парика, золоченых галунов, великолепных перьев.

– Не удивляйтесь, Виктор Андреевич. Этот маленький маскарад – необходимая условность, к которой мы прибегаем во время наших экстрасенсорных сеансов. Стиль восемнадцатого века позволяет острее почувствовать магическую культуру графа Сен-Жермена, алхимиков Кельна, волшебство Калиостро, времена, когда была предпринята грандиозная попытка создать живую машину, оживить механизм, одухотворить куклу. Тогда люди приблизились к слиянию спиритуализма и механики, к искусственному сотворению жизни. Увы, человечество пошло по пути бездумной техники. Вместо одухотворенных, мыслящих и верящих машин мы создаем цивилизацию роботов. Здесь вы увидите, как мы стараемся вернуть человечеству утраченные возможности. Не удивляйтесь, чувствуйте себя как дома. Вы среди своих. Вас знают и ценят, – он указал Белосельцеву на парадные двери, где, пропуская его во дворец, склонились молчаливые разодетые слуги.

Белосельцев был в этой усадьбе в детстве, когда мать водила его по музеям, показывала церкви в Коломенском и Дубровицах, картины Третьяковки и коллекции Кусково. Он помнил музейную тишину Останкино, запах теплого тлена, остановившееся время, висевшее в пыльном солнце среди екатерининских портретов, инкрустированных столиков, выцветших атласных обоев. Теперь, пройдя во дворец, он поразился многолюдью, ожившим гостиным, пылающим среди хрусталей свечам, обилию дам и кавалеров, словно шагнувших из золоченых рам на инкрустированный пол танцевального зала.

Здесь были кринолины, кружева, декольте, стянутые тугими лифами открытые груди. Среди дамских нарядов, роскошных, как клумбы, разноцветными мотыльками мелькали военные мундиры, камергерские ленты, изящные туфли с пряжками, ботфорты со шпорами, пышные жабо, кружевные манжеты, лихие офицерские усы, завитые пряди до плеч, роскошные белые, как пена, парики.

Белосельцев понял, что попал на костюмированный бал или маскарад. Среди бальных туалетов возникали фантастические персонажи в облачении античных богов и героев, арапы, карлы, звездочеты, сарацины, китайские мандарины и другие создания, будто раскрашенные картинки восточных сказок, рисунки чернокнижников, ритуальные маски языческих волхвов и шаманов.

Все это двигалось, шевелилось, менялось местами, отбрасывало на потолки и стены зыбкие тени, заслоняло подсвечники, озарялось блеском зажженных свечей, издавало странный металлический звук, как если бы позванивало множество шпор, или терлось друг о друга множество льдинок, или тонко поскрипывали и похрустывали работающие велосипедные цепи. Собравшиеся что-то совершали, взаимодействовали, посылали в разные концы зала сигналы, смысл которых был непонятен Белосельцеву. Дама колыхала костяным веером, прикрывая им улыбающиеся сочные губы, делала тайные знаки удаленному от нее кавалеру. Тот лез рукой за борт шитого серебром камзола, вытаскивал карту с бубновым тузом, показывал ее стоящей рядом нимфе в полупрозрачном розовом одеянии. Вдруг сверкало зеркальце в чьих-то быстрых руках, посылало игривый зайчик света. Моментально вспыхивала и гасла короткая радуга, и Белосельцев успевал разглядеть хрустальную призму, которую прятал в кружева вельможа в тяжелом парике. Кто-то держал в тонких пальцах румяное яблоко. Кто-то покачивал серебряной клеткой, в которой синей искоркой металась живая птичка. Мавр, маслянисто-черный, в белом балахоне, показывал на бледной ладони малахитовую змейку с рубиновыми глазками. Китайский мандарин, набеленный и нарумяненный, держал цепочку, на которой покачивался хрупкий скелетик лягушки, как если бы его источили и обглодали муравьи. Среди этих странных амулетов и символов Белосельцев вдруг углядел хвостовик противотанковой гранаты в руках миловидной фрейлины. А на груди античного фавна – приборчик с электронным экраном, на котором пульсировала голубоватая синусоида.

Все казалось неправдоподобным и фантастичным.

– Все это наши изделия, Виктор Андреевич. – Трунько нашел его среди многолюдья, стряхивая с его плеча упавшую капельку воска. – Одухотворенные машины, сотворенные в наших секретных лабораториях. Думающие и чувствующие механизмы, созданные в наших мастерских по рецептам средневековых механиков. Мы репетируем и синхронизируем действия, чтобы в «час Икс» все вышли из «подкопа». Действовали слаженно и стремительно. Мы ждем приезда главного механика, чтобы показать ему наши возможности. Оставайтесь здесь, наблюдайте. Я вас отыщу, и мы пройдем по лабораториям. – Трунько весело посмотрел на Белосельцева и ушел, колыхая страусиным плюмажем, покачивая маленькой шпажкой, на которой красовался фиолетовый бант. А Белосельцев, предвкушая удачу, ожидая наконец увидеть Демиурга, продолжил свои наблюдения.

Осторожно перемешался в фантастической толпе гостей, среди запахов горячего воска, духов, терпкого пота, со странными примесями машинного масла и токарных эмульсий. Остановился подле трех персон, изображавших граций, в полупрозрачных бирюзовых туниках, с венками из благоухающих роз, словно их срисовали с греческой вазы. Взялись нежно за руки, будто вели хоровод, женственно колыхали грудью и бедрами, но их стопы, обутые в легкие сандалии, изобличали мужчин – грубые волосатые пальцы, плохо подстриженные желтоватые ногти. Всматриваясь в их нарумяненные, под высокими прическами лица, Белосельцев узнал трех известных поэтов, в недавнем прошлом кумиров молодежи, собиравших на стадионах восторженные толпы любителей поэзии. Они и теперь держали в руках изящные томики с поэмами «Ланжюмо», «Сто шагов» и «Братская ГЭС», где каждый, на свой лад сверкая рифмами, романтично воспевал Ленина, стройки коммунизма и неизбежность советского строя.

– Евгений, Андрей, – чуть заикаясь, говорила грация с пухлыми, напоминавшими хобот губами, уставя на собеседников темные печальные глаза, – мы должны понимать, что от всей советской литературы, которая на глазах превращается в горы бумажной трухи, останемся

только мы, наши стихи, наше предвкушение свободы. Сегодня, когда я принимал душ, мне явилось двустиие: «Мы – гипертоники, мы – дети электроники». Что это? Такого я еще не писал.

– Роберт, – отвечала ему грация с блеклым бабьим лицом, вяло шевеля вислыми, лягушачьими губами. – Мы так страдали от проклятого строя, переносили лишения по-ахматовки и по-цветаевски стойко, что теперь, когда уже причислены к сонму поэтов-мучеников, можем посвятить себя вечному. Новой поэзии, новой красоте. Подумать о бессмертии. «Когда я по пляжам Ниццы шагал, мне явился Шагал. Когда я лежал на пляже в Хосте, я думал о холокосте». Прочитаю эти стихи в Иерусалиме в день нашей победы над антисемитами.

– Братя, – произнесла грация с колючим носом, вся в нервных морщинах и складках, среди которых сверкали, как карбункулы, яростные глаза, – на станции Зима у меня есть любимое место. Там постоянно идут белые снега. Там мне пришло откровение – если буду я, то будет и Россия. Поэтому я должен беречь себя от баррикад и восстаний. Хочу уехать в Иллинойс. Там завершу мою исповедь. «Жил я яростно и шипко. Запах роз и запах «Шипра». Горечь слез и тайна шифра». Ну и так далее. Мы должны уничтожить в советской литературе все, что связано с погромами и сталинизмом. Чтобы наследники Сталина остались без наследства.

Античные одеяния граций, камеи и геммы в прическах, волнообразные покачивания бедер, выпуклые, пропечатанные сквозь тунику соски маскировали иную, потаенную сущность, которая проявляла себя в тихих постукиваниях, какие издают работающие моторчики, в легких ядовитых дымках из-под подолов, как если бы там были спрятаны выхлопные трубы, в таинственном металлическом свечении, проступавшем сквозь прозрачные покровы. Опасливо сторонясь механических поэтов, Белосельцев перешел на другое место, где в хрустальных канделябрах плавилась жаркие свечи.

Еще одна пара гостей стояла у мраморной колонны, освещенная коптящим пламенем факела. Один изображал звездочета, в остроконечном черном колпаке с серебряными кометами, лунами и светилами. В прорезях мантии виднелась бледная, длиннопалая ладонь, держащая циркуль. Другой был наряжен в эфиопа, маслянисто-темный, в фантастической, огненно-алой чалме, напоминающей корабль, в белоснежных шелках, из которых появлялась черная худая рука, сжимающая золоченый трезубец. Звездочет то и дело раскрывал циркуль и измерял невидимые, парящие в воздухе фигуры. Эфиоп подносил трезубец к лицу и делал на щеках ритуальные надрезы, отчего на черной коже выступала кровь. Это не мешало им негромко беседовать, столь тихо, что лишь отдельные фразы долетали до Белосельцева.

– Вы знаете, Гавриил Харитонович, мне их даже по-человечески жаль, – говорил звездочет, и Белосельцев с изумлением узнавал в нем высокопоставленного работника ЦК, курирующего промышленность. – Этот доверчивый народ создавал из нас интеллигенцию, доверял высокие посты в партии, в культуре, в дипломатии. А мы теперь неблагодарно уходим от народа, унося свои знания, свои накопления. Народ остается гол, слеп, лишен элиты, не понимает, что с ним собираются делать, как ослепленный бык, которого ведут на заклание. Иногда, признаюсь вам, мне от этого больно, – он склонил колпак с серебряными звездами, сделал несколько замеров циркулем, будто перед ним возникла невидимая пирамида и он измерял ее грани и основание.

– Дорогой Аркадий Иванович, – мягко гуркая на эфиопском наречии, отвечал чернокожий мудрец, и Белосельцев под красной чалмой узнал известного экономиста, прокладывающего путь реформам. – Право слово, народ не стоит жалеть. Он – объект, а не субъект истории. Народа всегда было много, а элиты всегда мало. Когда история требовала больших трат народа, женщины начинали усиленно рожать, и народ восстанавливался. Нам не нужно столько народа, не нужна такая большая Россия. России должно быть меньше в десять, в двадцать раз. И соответственно меньше народа. Вот тогда мы сможем создать эффективную экономику и построить гражданское общество, – он провел по щеке трезубцем, нанося очередной ритуальный надрез.

Белосельцев видел, как под облачением звездочета что-то поминутно мерцает и вспыхивает, словно дуга электрической сварки. Вытекает дымок сгоревшего металла, пахнущий едкой окалиной. Эфиоп, раздиравший трезубцем лицо, обнажал на скулах стальные легированные пластины. Когда говорил, во рту его начинало светиться, и он выдыхал прозрачно-фиолетовое облачко плазмы. Чувствуя сквозь одежду большой ожог, как если бы его облучили куском урана, Белосельцев поспешил отойти.

Но здесь, в гуще костюмированного праздника, невозможно было уединиться. Он тут же оказался в соседстве с сатиром, который был умело задрапирован в косматую шкуру, весело пялил круглые умные глазки на коричневом лице с кудрявыми бакенбардами и бородкой, шаловливо постукивал раздвоенными копытцами. Рядом с ним увивался воздушно-легкий купидон, с шелковыми крылышками бабочки-капустницы, в веночке из крохотных роз. То и дело подпрыгивал, отталкиваясь от пола босыми ножками. Натягивал хрупкий лук с серебряной стрелой. Щекотал сатира острием, засовывая стрелку в его волосатую горячую ноздрю. Сатир чихал, хохотал, отгонял купидона, а тот перелетал через кудлатую, с рожками, голову сатира и небожно колот в шерстяную спину.

– Я вам докладываю, – купидон, несмотря на свой детский, фарфорово-розовый вид, говорил прокуренным хрипловатым баском. Белосельцев с изумлением узнал высокопоставленного офицера госбезопасности, который недавно, в нарушение всех принципов конспирации, вышел в публичную политику с разоблачениями кровожадного и преступного КГБ. – На этой неделе я сдал ФБР еще одного агента, завербованного мной три года назад. Он поставлял нам бесценные сведения из штаб-квартиры «Неви Анелайсес», что позволило Северному флоту сократить избыточное число ударных подводных лодок, действующих под полярной шапкой. Я думаю, в Америке предстоит шумный шпионский процесс, и мы пообрубаем-таки щупальца КГБ, – он счастливо засмеялся, тряхнул стрелкой, и несколько солнечных клейких капелек упало на руку Белосельцева, тотчас превратившись в нарывы и язвочки, как если бы воспалилась прививка от оспы.

– Примите и мой доклад, – сатир, несмотря на свой звериный лесной облик и крепкие мохнатые клубни в паху, говорил тонким голосом скопца. Белосельцев легко узнал в нем известного эколога, выступавшего за консервацию полигонов в Семипалатинске и Байконуре, обвинявшего военных в разрушении уникальных экосистем пустыни. – Мне удалось добиться посещения американскими экспертами завода ракетного топлива. Я знаю, что правительство вынуждено подготовить приказ о закрытии вредного производства. Военные хрипят от ненависти, но, бедненькие, не догадываются, что их еще ожидает, – сатир от щекочущей нос стрелы громко чихнул. Мелкие брызги попали на пиджак Белосельцева, ткань стала дымиться, как если бы ее оросили серной кислотой.

Эти античные персонажи пахли не лесом, не звериной берлогой, не сладким нектаром лугов, а источали едкие запахи химии, от которых слезились глаза и першило горло. Под шерстяной шкурой сатира и атласными крылышками купидона просвечивали цилиндры из нержавеющей стали, где хранился запас химического оружия. Несколько капель его было способно отравить Волгу или Байкал. Рассеянное в виде аэрозоля над Москвой или Красноярском, оно могло превратить огромные города в безлюдные каменные теснины.

Одни из гостей разбились на группы, нашли друг друга. Негромко работали моторчиками, шевелили антеннами, включали индикаторы и экраны компьютеров. Другие все еще искали партнеров, беспокойно перемещаясь по залу. Мимо пронеслась, не касаясь земли, русалка с распущенными зелеными волосами, розовыми губами, жадно ищущими поцелуя. Круглились ее обнаженные груди, соски были прикрыты крохотными перламутровыми раковинами, чешуйчатый хвост драгоценно переливался. Белосельцев узнал в ней ту, что боролась с привилегиями кремлевских вождей. Она была нежна и пленительна, но вдруг из нее со сту-

ком выпал тяжелый коленчатый вал, вылилась черная маслянистая жижа. Она вцепилась в отломившуюся деталь и, грязно ругаясь, потащила ее из зала.

Тут же ходила большая, как бык, женщина на толстых ногах, изображавшая пастушку. Это была известная правозащитница и революционерка, требовавшая казни всех членов партии. В перерывах между психлечебницами и приводами в милицию она устраивала шумные выступления на площади Пушкина. Теперь же кокетливо приподнимала подол с греческим меандром, соблазняя своими прелестями игривых пастушков. Один – в миру мелкий предприниматель, ратующий за экономическую свободу, – польстился, поправил на голове венок полевых цветов, спрятал в холщовую суму тростниковую свирель, нежно обвил ее огромный торс. Но пастораль внезапно оборвалась. Из пастушки с грубым лязгом выпали огромные слесарные тиски с зажатым ржавым болтом, и она, прижимая их к животу, как прижимают выпавшую грыжу, поволокла куда-то прочь, выкрикивая проклятия режиму.

– Простите, что покинул вас, Виктор Андреевич, – перед ним возник Трунько, оживленный, неутомимый, с лихим пером на широкополой шляпе. – Я должен был убедиться, что все готово к прибытию главного механика. Он проведет инспекцию наших достижений. Если не возражаете, давайте посмотрим наши секретные лаборатории.

По изъеденным каменным ступеням они спустились в подвалы дворца.

– Прошу, – Трунько приоткрыл дверцу в каменной кладке, пропуская вперед Белосельцева. – Здесь идет переписка советских книг. В советское «священное писание» вставляются фрагменты, искажающие смысл «коммунистического евангелия». Те, кто станет читать и молиться, впадут в слабоумие, и красная империя, лишенная священных заветов, распадется.

Помещение, где они оказались, было озарено свечами в высоких кованых подсвечниках. Уставлено столами, за которыми сгорбились писцы в колпаках, с розовыми потными лысинами, в потертых жилетках, с похожими носатыми лицами. Окунали гусиные перья в стеклянные чернильницы, вписывали со скрипом строки, абзацы, а то и целые главы. Посыпали новоиспеченный текст мелким песком из глиняных песочниц.

– Тут мы исправляем книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Почти ничего не меняем, только в конце вписываем сцену, где парализованный герой, мучимый похотью, занимается мастурбацией. За этим занятием его застает секретарь комсомола, который присоединяется к Павке Корчагину, – Трунько, гордясь своим изобретением, заглядывал через голову писца.

– А здесь, – Трунько перешел к другому, грубому, как верстак, столу, – мы занимаемся «Тихим Доном». Незначительные купюры по ходу романа, и абсолютно другой финал. Григорию Мелихову и Аксинье удастся спастись. Они перебираются за границу, где знакомятся с раввином, который учит их основам иудаизма. Они участвуют во французском Сопротивлении, переселяются в Израиль, где герой под именем Грегор Мелахин становится видным деятелем сионизма. Если у романа появляется такой финал, то не нужно оспаривать авторство Шолохова, – Трунько положил руку на лысую горячую голову писца, и тот по-собачьи затих, прикрыв маслянистые глазки.

– А это самый талантливый исправитель книг, – Трунько похлопал по упитанной розовой щеке пухлого молодого человека с заячьей губой. – Он обрабатывает «Молодую гвардию» Фадеева. Подробно рассказывает, как Любка Шевцова совокуплялась с немецкими офицерами в борделе и как Олег Кошевой добровольно явился в гестапо и сдал своих товарищей. Вместе с немцами участвовал в казни молодогвардейцев, помогал солдатам сбрасывать вагоны с вагонов на головы казнимых подпольщиков, – польщенный похвалой юноша лизнул руку Трунько, и тот, отирая ее платком, произнес: – Ну зачем так? Я же обещал, что тебя примут в Союз писателей.

Они перешли в соседнее сводчатое помещение, напоминавшее лабораторию алхимика.

– Здесь мы работаем с государственной символикой СССР. Меняем геральдические коды. Вводим едва заметную коррекцию, которая напрочь искажает смысл символа, а вместе с ним базовые установки, на которых зиждется советское общество.

Среди реторт с ядовито-зелеными и золотыми растворами сидел волосатый гравер с бархатной тесемкой на лбу. Волосы его были изъедены кислотами. Сквозь линзу дико и мокро сверкал увеличенный, с красными прожилками глаз. Перед ним на верстаке лежал бронзовый герб СССР. Земной шар, окруженный колосьями, был обращен к зрителю не восточным полушарием с очертаниями Советского Союза, а западным, с материками Америки. На колосьях поселились плевелы и спорынья. На лентах с названиями советских республик были выбиты тончайшим зубильцем надписи: «Проклятье КПСС», «СССР – империя зла», «Коммуно-фашизм», «Сталин – палач». Мастер напрягал зрение, выпучивал глаз, и Белосельцев видел, как лопнул в его белке еще один кровяной сосуд, заливая око алым бельмом.

– Флаг – предмет наших особых забот, – Трунько подвел Белосельцева к деревянной раме, на которую был натянут красный государственный флаг. Тут же горел небольшой очаг с горстью жарких углей. Кудесница, похожая на портниху, с высокими грудями, в яркой помаде, орудовала ножницами, поблескивала иглой, тянула с катушек разноцветные нити. – Красный флаг над рейхстагом поднял, как известно, сталинист Кантария. А спустит его с Кремлевского дворца представитель сексуальных меньшинств столицы Артур Малюгин. – Трунько пощекотал портнихе подбородок, и та жеманно повела бедром, шаркнула туфлей на высоком каблуке.

Ее колдовство над флагом сводилось к тому, что она надрезала полотнище, выщипывала из него красную нить, кидала в очаг, где нитка сгорала летучим пламенем. На место выдранной красной нити вплеталась синяя и белая. Флаг оставался алым, но постепенно терял животворный цвет, мертвенно бледнел, обретал едва заметную трупную синеву.

– А это – кумирня, где мы созидаем новых героев взамен обветшалых. – Трунько провел Белосельцева в подземную залу. – Если мы лишим Советский Союз его красных святых, его коммунистических мучеников, то исчезнет мистическая основа советского строя. Мы совершаем здесь ритуал сожжения красных подвижников, одновременно заменяем их подвижниками нового времени.

Подземная зала напоминала древнеегипетский храм с высокими колоннами, чьи капители были каменными цветами лотоса. На стенах, как в усыпальницах фараонов, были начертаны иероглифы, божества с орлиными и волчьими головами, воины, жрецы, священные кошки, изображения лун и светил. В нишах горели дымные факелы, роняя на каменный пол маслянистые жаркие капли. На ковре, застилавшем ступени, рядами, одна над другой, стояли обнаженные, смуглые, темноволосые девушки с белыми лилиями в распущенных космах. Они держали курящиеся благовонные палочки, пели, тихо покачиваясь, и в этом монотонном бессловесном пении чудилась печальная молитва, взывающая к неизвестному божеству.

В центре залы находился жрец в маске, изображавшей кошачью голову, в пятнистой шкуре леопарда и в плоских сандалиях на мускулистых ногах. Залу пересекала деревянная ладья с резным завитком на носу, делавшим ее похожей на большую виолончель. В ладье стояли три обнаженных юноши, худощавые, стройные, с недвижными широко открытыми глазами. Казалось, они оцепенели, убаюканные девичьим пением, сладким дымящимся зельем, мерными мановениями жреца, державшего в кулаке позолоченный ключ.

Тут же горел открытый очаг и лежала стопка папирусов с чьими-то плохо различимыми лицами.

– Этот огонь доставлен из центра Земли, из горных пещер Ирана, – пояснял Трунько, стараясь не мешать мистерии. – Он – часть мирового огня, пожирающего утомленных богов.

Жрец, танцуя, напрягая голые бицепсы, в поворотах развевая гибким хвостом леопарда, приблизился к стопке папирусов. Воздел над ними ключ, поворачивая, словно отмыкал незримые врата. Схватил верхний папирус, и Белосельцев увидел, что на нем было лицо Зои Кос-

модемянской, знакомое по школьным учебникам, с короткой стрижкой, хрупкой девичьей шеей, на которую было больно смотреть. Жрец поднес папирус к очагу, отпустил. Легкая ткань коснулась огня. Прозрачное пламя взметнулось, полетело под своды храма, а жрец мчался за ним, гнал его опахалом из павлиньих перьев, изгоняя огненный дух.

На следующем, подлежащем сожжению папирусе был изображен капитан Гастелло, в летном шлеме, в комбинезоне, каким видели его в «Комнатах боевой славы» во всех гарнизонах. Жрец кинул папирус в огонь, и пламя, напоминавшее тоскующий дух, метнулось ввысь, а человек-леопард неистово скакал, мотал опахалом, изгоняя метущийся призрак. Поворачивал ключ, закрывая врата, чтобы тот не вернулся обратно.

Так, под ритуальное пение девушек, бессловесные молитвенные заклинания, были сожжены Александр Матросов и Лиза Чайкина, генерал Карбышев и Яков Джугашвили. В огне исчезали папанинцы, Стаханов, Валерий Чкалов, двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев.

Последним сгорел Гагарин. Казалось, в языках огня, под темные своды летело его улыбающееся белозубое лицо, словно это была огненная нерукотворная икона. Жрец выкрикивал заклинания, плевал в него, кидал в него опахало из перьев, а оно ушло в камень сводов, оставив гаснущее пятно.

– Теперь алтари свободны, – Трунько пояснял ритуал. – Прежние боги свергнуты. На их месте мы воздвигнем новых богов и героев.

Девушки пели бессловесно, выводя нежными печальными голосами таинственный музыкальный иероглиф, в котором чудилось мистическое изображение круга, полумесяца, темного и светлого Солнца, вечного восхождения в жизнь, вечного нисхождения в смерть, бесконечной реки, по которой проплывает ладья, перевоза бестелесные души. Юноши зачарованно, с огромными невидящими глазами стояли в ладье, приносимые в жертву древнему богу.

Жрец сбросил кошачью маску, под которой открылось лицо известного в Москве оккультиста. Он часто выступал по телевидению, погружал в гипноз многолюдные залы, лечил от болезней именитых людей. Теперь он сбросил пятнистую шкуру, скинул сандалии, остался голым, поигрывая смуглым натренированным телом.

– Сейчас он совершит магическое действие, через которое герои порывают с прошлым. Запечатывают себя от искушений и соблазнов, чтобы беззаветно служить новой вере, поклоняться новым богам. И, если нужно, принести себя в жертву, – Трунько был взволнован. Предстоящий ритуал затрагивал тайные энергии мира. Взывал к древним исчезнувшим культам. Будил богов, уснувших в пирамидах, в мертвых городах, на дне безвестных могил. – Обряд называется «зашитое». О нем есть упоминания в свитках Мертвого моря.

Обнаженный жрец уселся на каменный пол в позе лотоса, отчего тонкие мышцы его натянулись, и он стал похож на анатомическое пособие. В руках его появилась блестящая кривая игла с дратвой. Он крепко сжал губы, вытянул их вперед, вонзил иглу, продергивая дратву сквозь мякоть, кровь, кусочки красной выдранной плоти. Белосельцев почувствовал в своих собственных губах острую боль, которая склеивала рот, не давала ему разомкнуться. От этой боли забылись вдруг все известные прежде слова, он стал нем и безгласен. В зашитом рту, на разбухшем от боли языке трепетало, росло, рвалось наружу какое-то древнее, огромное слово, состоящее из одних гласных звуков, как рев носорога.

Жрец закрыл один глаз, оттянул веки с ресницами и пронзил их иглой, продергивая дратву. То же совершил с другим глазом. Веки, стянутые грубым сапожным швом, дрожали от набрякших внутри глазных яблок, сквозь дратву текли слезы и кровь. Белосельцев почувствовал, как погас в его глазах мир, исчезли объемы и краски и в темной мгле загорелся далекий дикий огонь, словно в бесконечной дали приближалось красноватое злое светило.

Жрец зашивал себе уши, ловко сверкал иглой, и Белосельцев чувствовал, как в его собственных ушах возникала мертвая тишина, словно туда заливали горячий воск, который тут

же каменел, отсекал его от звуков жизни, и только слышался ровный жестокий шум дующего во Вселенной ветра, который и был глухотой мира.

Жрец шире раздвинул промежности, щепоткой пальцев ухватил крайнюю плоть, оттянул и вонзил иглу, зашивая детородный орган грубым рубчатым швом. Белосельцев испытал ожог в паху, словно приложили раскаленное железо, и его запечатанный пах похоронил, как в могиле, все его страсти, похоти, вожеления, стремление к продолжению рода. Таинственная мужская сила, побуждавшая его скитаться, мечтать, неумоимо искать присутствующую в мироздании женственность, отхлынула из омертвело паха в сердце, наполнив его страстным ожиданием чьей-то властной, неумолимой воли, которой был готов подчиниться.

Жрец действовал иглой как умелый сапожник. Зашил себе ягодицы, продевая красно-блестящую иглу в желобок между двух полушарий. Сдвинул ляжки и стянул их дратвой, так что ноги оказались склеенными одна с другой. Сшил вместе все пальцы ног, превратив их в одну огромную ласту. А потом – и рук, придав им форму совка, куда из проколов медленно натекала кровь. Пришил подбородок к груди. Пятки выгнутых ног – к лопаткам, превратившись в бесформенный куль, куда были упрятаны все внешние органы, все формы и выступы тела, а виднелись одни только воспаленные швы.

Теперь жрец работал иглой внутри чехла, в который сам себя поместил. Двигался, вздувался буграми. Зашил свое сердце, словно кожаный кошель. Белосельцев почувствовал, что его собственное сердце стиснули чьи-то каменные пальцы, оно вспыхнуло жуткой болью и погасло. Жрец зашил кишечник, запечатал желудок, вонзал иглу в легкие, стягивал дратвой почки и печень. Теперь он был весь зашит, сжался, стиснулся.

Белосельцев взглянул на трех юношей, застывших в ладье. Они казались мертвыми, бледно-голубыми, словно их превратили в языческих кумиров с закрытыми глазами, в бело-мраморных идолов, которым место на капище, и девушки с лилиями в волосах пели таинственные заклинания, прославлявшие этих богов.

Кожаный чехол, покрытый заплатами, испещренный рубцами, грубо исчерченный швами, начал дрожать, сотрясаться. По нему прокатывались волны страданий, словно в мешке бился пойманный хищный зверь. Жрец собрал всю энергию, напряжинил все мышцы и мгновенным, резким усилием вывернулся наизнанку, так что все его внутренние органы оказались снаружи: фиолетовая липкая печень, коричневые скользкие почки, багровое, отекавшее сукровью сердце, пузырящаяся пена легких. И это означало, что Внутреннее стало Внешним, а Внешнее погрузилось вовнутрь. Мир был вывернут наизнанку, обнаружил сокровенную сущность. Теперь в нем действовали обратные законы, он стал Антимиром. И в этом вывернутом, переименованном мире действовало иное божество, управлял иной царь. Юноши, белые, словно соляные столбы, стояли в ритуальной ладье. Но теперь глаза у них были широко раскрыты, оттуда били жестокие зеленые лучи.

Белосельцев на секунду потерял сознание. Очнулся на лестнице, ведущей из подвалов наверх. Трунько подносил к его носу ватку с нашатырным спиртом.

Они появились в зале в момент, когда среди гостей из уст в уста понеслось: «Едут, едут!.. Наконец-то!..» Кавалеры и дамы, фавны и пастушки потянулись к дверям. Но им навстречу вышел церемониймейстер в золотом шитье, с малиновой перевязью, ударил в пол жезлом и громко, возвышая голос до восторженного, самозабвенного крика, стал изрекать:

– Его Величество король Саксонский, курфюрст Бранденбургский, лорд Йоркширский, барон Дерптский, виконт Прованский, султан Турецкий, эмир Бухарский, имам Персидский, рыцарь Мальтийского ордена, архиепископ Кентерберийский, кардинал Авиньонский, член Синода Русской Православной церкви, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС... – от волнения голос церемониймейстера перешел на клекот, и Белосельцев не расслышал имени.

Толпа вельмож и придворных дам расступилась в поклонах, освобождая просторный коридор. Золоченные двери распахнулись, и на блестящий паркет, инкрустированный драгоценными породами дерева, ступил тот, кого Белосельцев в своих зашифрованных списках именовал Шашлычником. Не в маскарадном облачении, а в обычном партикулярном пиджаке, чуть помятом, без галстука, с расстегнутым воротом, с выпученными водянистыми глазами, толстогубый, с пучками всклокоченных седых волос и с тем знакомым выражением испуга и наглости, властолюбия и подобострастия, лукавства и неутолимого честолюбия, с которым появлялся на съездах, пресс-конференциях, международных форумах. Испытав разочарование, не увидев в нем Демиурга, Белосельцев почувствовал жаркую страстную ненависть к этому отвратительному кавказцу, чьими усилиями уничтожалась держава. Выводились победоносные войска из Афганистана, отдавая ключевую азиатскую страну неприятелю. Предательски, в угоду Америке, резались тяжелые ракеты в шахтах и на подводных лодках. Объединилась Германия, суля в грядущем реванш за проигранные мировые войны. Готовилась передача Японии Курильских островов, что делало бессмысленным содержание Тихоокеанского флота. Это был беспощадный и хитрый ненавистник красной империи. Враг, разрушавший геополитические рубежи обороны. Предатель, открывавший ворота недругу. В эти крепостные проемы, распахнутые в высотном здании на Смоленской площади, непрерывно, среди бела дня, просачивались агенты, лазутчики, диверсанты, провокаторы, принося с собой гибель.

Шашлычник благосклонно принимал знаки почтения. Прошел среди склонившихся гостей, и Белосельцев почувствовал, как от него пахло луком и жареной бараниной, разглядел на лацкане пиджака пятно от томатного соуса.

– Друзья, – обратился он к затихшему залу, выворачивая мокрые губы, с наслаждением коверкая русскую речь. – Приближается кульминация. Мы должны быть готовы, и в час, когда пробьет гонг, мы найдем друг друга, станем действовать слаженно, как одна большая машина. Нам будет отпущено три дня, и за это время мы освободим мир от коммунизма. Сейчас мы проведем последнюю генеральную репетицию, убедимся в наших возможностях!

Он отступил. На его место вышел полуголый якутский шаман с бубном. Стал колотить в пол голыми пятками, бить в гулкий бубен. И под эти удары, которые превращались в рокот, гром, яростное грохотанье, колебавшее субстанцию мира, под эти колдовские стуки натянутой тюленьей кожи присутствующие стали поспешно раздеваться. На пол полетели плюмажи, шляпы, корсеты, кружевные воротники, шитые камзолы, розовые туники, прозрачные хитоны, легкие сандалии, пышные тюрбаны, курчавые парики. И враз обнажилось множество фантастических машин и механизмов.

Тут были синеватые стальные твари, похожие на огромных божьих коровок. Титановые кузнечики с отточенными перепонками и натянутыми рычагами, готовые к скачку и удару. Вороненые, как ружейные стволы, жуки с грозными, нацеленными хоботками. Горбатые существа, напоминавшие колючих дикобразов и ежей, с металлической шерстью, которая топорщилась и искрила. Крысообразные машины, покрытые пластмассовыми чехлами, в которых раздраженно светили красные глазки индикаторов. Чешуйчатые, напоминавшие глубоководных рыб механизмы, от которых исходило фосфорное сияние. Странные, как гигантские комары, полупрозрачные трубки на длинных ходулях, из которых торчали колючие жала, острые буравчики. Светляки с зеленоватыми светящимися попками и разнообразным набором щипчиков, клещей и резцов на маленьких упрямых головках. Множество механических птиц – железных скворцов, медных дятлов, бронзовых тяжеловесных пеликанов с хромированными клювами, из которых раздавался жестяной стук и тускло мерцало.

Все скопище шевелилось, искало друг друга, трогало щупальцами, усиками, перепончатыми лапами. Терлось скрежещущими боками, стучало доспехами, сталкивалось легированными животами. Между ними происходило соитие. Они соединялись винтами. Схватывались заклепками. Спаивались мгновенной точечной сваркой. Цеплялись крючками и зацепками.

Прилипали присосками. Склеивались, проникали друг в друга, издавали скрипы, шелесты, скрежеты, шипение, чмокание, хлюпающие и металлические звуки. Корчились, вцепившись друг в друга хвостами и клювами. Сладострастно извивались, растопырив чешую и светящиеся рубиновые жабы. Вставали на дыбы, раскрывая легированные вороненые перепонки. Царапались, кусались, исходили горячими маслами, пенными эмульсиями. Выбрасывали пузыри газа, выхлопы вонючего дыма.

Между ними возникали электрические разряды, пульсировала вольтова дуга, трепетало розовое облачко радиации. Они открывали навстречу друг другу синие экраны, дрожащие индикаторы, на которых электронной строкой бежали неведомые письма, огненные иероглифы, вспыхивали пентаграммы, каббалистические символы, летели потоки стозначных цифр, отрывки колдовских текстов и заклинаний.

Скопище срослось, сочетаясь в жутком шевелящемся совокуплении. Ерзало, хрустело, танцевало. Вспыхивало и гасло. Дыбилось горой. Свертывалось в трепещущие клубки.

Белосельцеву было страшно смотреть. Он чувствовал слепую беспощадную мощь этих сконструированных существ, что двигались по его любимой земле, покрывая ее чешуей, сжирая и выстригая деревни и рощи, города и космодромы, храмы и заводы, оставляя за собой мертвое измельченное вещество, над которым колыхался терпкий кровавый пар.

К нему вдруг подскочила женщина в пышном кружевном воротнике английской королевы, в широкобедром кринолине, с осиной талией, с высокой прической, увенчанной крохотной алмазной короной. Это была известная поэтесса, славная своим жгучим демократизмом и неистовым стремлением найти и покарать антисемита. Она пленительно улыбалась Белосельцеву, импровизировала на ходу эротический стих:

– Я – Римма! Я – прямо из Рима! Я – весома и зрима! Мне все по плечу! Я очень тебя хочу!

Протянула к нему длинную напряженную ногу с босыми шевелящимися пальцами. И этими длинными гибкими, с алым педикюром, пальцами ухватила пряжку его брюк, ловко расстегнула, стала их совлекать. Белосельцев отпрянул. Поэтесса, охваченная удушающей страстью, стала срывать с себя одежды. Под корсетом, прозрачным лифом, легким, как пена, воротником, под тяжелым шелком бального платья открылись металлические пластины, клепанные сочленения, сварные швы. Высокая прическа упала, и обнажилась гладкая островерхая лысина, напоминавшая головку бронебойного снаряда. Под мышками у нее вспыхивало, несло гарью, паленой пластмассой. Вместо лобка у нее был виток спирали Бруно, на котором кровенели чьи-то изрезанные останки. Ноги двигались как чавкающие поршни, выдавливали горячую масляную смесь. Вместо ягодиц был «черный ящик», куда записывались все звуки и произносимые вокруг слова. Из-под ящика, из короткого обгорелого патрубка вырывался пахучий дымок. В промежностях со свистом вращалась ослепительная секущая фреза, выстригая все, что под нее попадало.

Поэтесса надвинулась на Белосельцева своей сталью и блеском. И тот побежал. Пробился сквозь жуткий ворох. Выскочил из задних дверей в ночной парк, где шелестели под темным ветром сырые деревья и мутно белели мраморные статуи. Помчался по аллеям, подальше от жутких пылающих окон дворца. Очнулся в глубине парка. Подумал, что сходит с ума, что все пригрезилось и он просто одурманен Трунько, прижавшим к его ноздрям вату с эфиром.

Овладел собой и вернулся к дворцу. Дворец был темен. В нем не раздавалось ни звука. Двери были наглухо заперты. Ворота затворены на щеколду. За решеткой, переливаясь фарами, мчался ночной поток автомобилей. И только перед каменным въездом, на бульжнике, темнело яблоко неубранного конского навоза, оставшегося от запряженной цугом кареты.

Глава третья

И на этот раз Белосельцев не нашел разгадки «Золоченой гостиной». Ему предстоял новый поход. На этот раз – в телецентр, куда звал его Зеленкович. Останкинская башня наполнила огромную луковицу, мощно выпиравшую из земли. Бетонный стебель сочно стремился в небо. Утончался, перетекал в тонкую трубку, окруженную сверкающими венчиками. Из них все выше и бестелеснее мчалось к облакам бесцветное стальное острие. На нем, едва заметный, темнел пронзенный человечек. Шевелил руками и ногами, как нанизанный на булавку умирающий жук.

У входа в стеклянный объем телецентра Белосельцев был встречен самим Зеленковичем, который радостно шагнул навстречу, пламенея прозрачными оттопыренными ушами:

– Как я рад, Виктор Андреевич, что вы откликнулись на мое приглашение, что вы с нами!.. Мне успели сообщить о вашем посещении праздника механических марионеток!.. Теперь у меня нет от вас тайн!..

Они шли по бесконечным коридорам, делая резкие, под прямыми углами, повороты. Возносились на лифтах до верхних этажей. Снова рушились вертикально вниз. Шагали вдоль прямых геометрических линий, которые никак не могли пересечься в бесконечности. Двигались день, другой, целую неделю, делая привалы, разводя костры, разбивая на ночь палатки. Чуть вставало солнце, они снова пускались в путь, окруженные стеклом, которое, если наступала зима, покрывалось пушистым инеем, и Белосельцеву хотелось пальцем написать: «Я тебя люблю». А когда возвращалось лето, стекла становились влажными, как в оранжерее, и он чувствовал аромат фиалок.

Наконец они оказались в студии, напоминавшей реанимационную палату обилием аппаратов, экранов, проводов, световодов, кресел с откидными спинками, мониторов с электронными графиками и большим горящим табло с надписью: «Тихо! Идет операция!»

– Сегодня у нас в программе несколько гостей, – пояснял Зеленкович,водя Белосельцева по студии, показывая ему множество столов с телефонами, индикаторами, компьютерами, магнитными катушками. – Первым прибудет Маршал. Он, как известно, пользуется влиянием в вооруженных силах, этакий оплот консерватизма. Определенные слои молодежи видят в нем героя войны, безупречного патриота, радетеля советского государства. Наша задача – отнять у него образ, показать публике его убожество, сделать смешной и неопасной восковой фигурой в Музее мертвых вождей. Мы используем хорошо известные вам колумбийские технологии, опыт таких телекомпаний, как Си-эн-эн.

Он включил компьютер, в котором содержалось полное досье на Маршала. Его фронтовой путь. Награды. Военные округа, где служил. Звания, должности, армейские части. Его инициативы по созданию средств ПВО нового поколения. Его идеи по размещению ракет средней дальности, нейтрализующих присутствие американских «Першингов» в Европе. Твердая позиция на переговорах с Америкой по сокращению вооружений. Несогласие с выводом советских группировок из Германии, Чехословакии и Польши. Патронирование новых вооружений в Космосе в ответ на американскую угрозу «звездных войн».

Тут же были даны его психологический портрет, темперамент, история болезней: фронтовые ранения, контузия, полученная на полигоне во время испытания новой ракеты, заболевания желудка, признаки гипертонии и склероза, аритмия сердца, сосудистые нарушения в правой ноге.

Были приведены три изображения Маршала в полный рост. На одном Маршал был представлен в парадном мундире, при всех орденах, в фуражке с помпезной кокардой. На другом – рентгеновский снимок скелета, просвечивающего сквозь лампасы, ордена, эполеты. На третьем – Маршал голый, как в медицинском кабинете или в бане. Все его тело было расчленено

на фрагменты, отдельные зоны, как это делают в мясных отделах магазинов, вывешивая изображение коровьей туши, с выделенной вырезкой, грудinou, окороками, ливерной и филейной частями.

– Смысл нашей методики в том, что пациент подвергается ряду воздействий, аналогичных операции на мозг, – доверительно, обращаясь к Белосельцеву как к коллеге, говорил Зеленкович. – Вы будете слышать мои вопросы, – он показал на одно из кресел, где, по-видимому, намеревался разместиться, – и читать на детекторе ответ, который хотел бы дать Маршал, – он указал на широкий экран, по которому бежали какие-то зеленоватые строчки. – Затем услышите ответ пациента, рожденный в его деформированном сознании, – Зеленкович кивнул на второе кресло со множеством едва заметных сенсорных датчиков и электродов, вмонтированных в спинку, в подлокотники, в сиденье.

– А вот и наш гость! – радостно воскликнул Зеленкович, шагая навстречу высокому худому старику, облаченному в маршальский мундир. Белосельцев отступил в тень, погружаясь в бархатный сумрак с мерцающими стеклами камер, незажженных ламп и экранов.

– Я люблю вашу передачу, – бодро и дружелюбно заявил высокий гость, пожимая Зеленковичу руку. – Не со всем согласен, но молодежи свойственны дерзания. Мы, ветераны, готовы протянуть руку доверия, – он улыбался, старался быть комплиментарным, не отстать от времени, поддержать экспериментальную передачу, всем своим видом показывая, что не боится острых вопросов.

Худой, с длинной лысой головой, узкими глазами, тонким носом. Красные лампасы вдоль костлявых ног, золотые погоны с огромными звездами на сухих плечах красили его. Он не был похож на тяжеловесного, набрякшего от важности солдафона.

Зеленкович суетился вокруг гостя, сыпал веселыми комплиментами, усаживал в удобное кресло, которое тут же ожило, бесшумно вонзило в костлявую спину и тощие ягодички Маршала множество электродов, датчиков, прилепилось присосками, делая его частью чувствительной электронной машины. Она задышала, замерцала огоньками, озарилась экранами, затрепетала множеством импульсов.

Они уселись один напротив другого. Операторы навели несколько камер на тяжелых штативах. Еще одна камера ползала над ними на металлической ноге, похожая на железного паука. Яркий аметистовый свет озарял место их встречи. Лица едва различимых ассистентов смотрели из сумерек, сквозь стеклянные перегородки, в наушниках, за пультами и аппаратами, напоминая бригаду молчаливых хирургов.

– Пять секунд до эфира! – произнес из черноты металлический голос. Оба замерли. И когда истекли секунды, оба озарились лучезарными улыбками. Глядя на вставные фарфоровые, безупречно белые зубы Маршала, Белосельцев не мог избавиться от мучительного чувства, что присутствует при изощренной казни.

– Товарищ Маршал, – Зеленкович обратился к гостю с подчеркнутым почтением. – Все чаще среди известных политиков, экономистов и общественных деятелей слышится мнение, что военно-промышленный комплекс выпивает живые соки страны. Якобы мы создали экономику танков, ракет, подводных лодок, и это мешает нам создать экономику колбасы, красивой одежды, детского питания. Как вы на это смотрите?

Маршал весело встрепенулся, помолодел, стал походить на бойцовского петушка. Улыбнулся Зеленковичу прощающей улыбкой, извиняя его наивную точку зрения. Ответ был готов.

Белосельцев, хоронясь в темных кулисах студии, возле оператора перед экраном детектора, читал в виде бегущей электронной строки текст ответа: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Военно-промышленный комплекс СССР есть ответ на агрессивный милитаризм США. Своими разработками в космической, ядерной, электронной областях ВПК питает технический прогресс страны. На оборонных предприятиях делается половина

товаров народного потребления. И нельзя же, молодой человек, все сводить к колбасе, ха-ха-ха! Есть такие понятия, как Родина, государство!»

Маршал весело блестел стариковскими бледно-голубыми глазками, излучая благодушную, необидную насмешку. Открыл для ответа блеклые губы. Но оператор перед пультом нажал на клавишу с надписью «взбалтывание». Послал в головной мозг жертвы ультразвуковые импульсы, которые стали встряхивать, всплескивать содержимое черепа, как это делает бармен с перевернутым стаканом коктейля, мешая разноцветные напитки и кусочки льда. Белосельцев видел, как наполнились паникой глаза Маршала, беспомощно задрожали губы, словно тот испытал внезапный приступ морской болезни. В костяном шаре черепа плескались, хлюпали, перемешивались мозги. Он бессмысленно мычал в микрофон:

– Ну нет... Ну зачем... Ну я бы не так... Колбаса-то при Сталине была... Рупь пятнадцать и два шестьдесят... Эх, вам бы с наше, ребята...

Оператор отпустил клавишу. Маршал облегченно вздохнул. Озирался, покрытый потом, не понимая, что это было.

– Товарищ Маршал, – Зеленкович изображал сочувствие к старческой немощи и слабости собеседника. – Такие крупные советские ученые, как Андрей Сахаров и Никита Моисеев, предупреждают, что атомная война может породить «ядерную зиму» и погубить все живое. А такие писатели, как Алесь Адамович, даже создали сверхлитературу, посвященную атомной угрозе. Не могли бы мы в СССР, если мы действительно гуманисты, отказаться от самого бесчеловечного в мире оружия?

Маршал пришел в себя, овладел мыслями и готовился взять реванш. Ответ, который сложился в его мозгу, был такой: «Как только мы в одностороннем порядке откажемся от наших ядерных бомб и ракет, тотчас американцы нанесут по СССР сокрушительный ядерный удар. Именно наличие у нас арсенала ядерного оружия препятствует ядерной войне. И в этом смысле наши бомбы – не оружие войны и агрессии, а оружие мира и сдерживания. А что касается Адамовича, то я предпочитаю романы о войне Толстого, Шолохова, Бондарева».

Он собирался все это сказать, но оператор нажал другую клавишу, с надписью «контузия». Направил в череп пациента серию жестких, как удары молотка, ультразвуковых импульсов. Это было равносильно ударам взрывной волны, когда от лопнувшего фугаса голова бьется о крышку люка и не спасает танковый шлем. На безжизненном оглушенном лице – скошенные, полные слез глаза и розовая слюна, вытекающая из открытого рта. Маршал не мог вернуть в орбиту вывороченные глаза. Казалось, он пережил микроинсульт. Все его функции были нарушены. Индикатор желудочной деятельности показал, что произошла утечка из прямой кишки.

– О-о-о, черт... Ну ты, на правом фланге, как стоишь... Где-то были у меня таблетки желудочные...

Зеленкович был опечален. Не торжествовал, не упивался интеллектуальной победой. Смотрел грустными глазами в камеру, обращаясь к телезрителям, прося их не судить слишком строго, питать уважение к сединам человека, отдавшего силы служению Отечеству.

Белосельцеву хотелось подбежать к заслуженному полководцу, отодрать его от коварного кресла, отключить от жестокой машины, вывести вон из пыточной камеры. Но он оставался на месте, не смея выдать себя.

– Товарищ Маршал, – печально продолжал Зеленкович, обращаясь с гостем как с больным ребенком. – Как вы относитесь к советскому вторжению в Афганистан, которое, теперь мы говорим об этом открыто, было актом агрессии. Стоило нам тринадцати тысяч солдатских жизней, повлекло бессчетное количество жертв и несчастий на афганской земле, породило у вернувшихся из Афганистана солдат синдром «потерянного поколения»?

Маршал совершал героические усилия, приводя свой травмированный разум в порядок. Сжимал зубы, набирал полную грудь воздуха, подымал плечи с золотыми погонами. Ответ, с которым он хотел обратиться к мучителю, был таков: «Если бы не мы вошли в Афгани-

стан, вошла бы Америка. На наших южных рубежах могла возникнуть враждебная группировка, подрывающая основы нашей стабильности. Разместились бы разведывательные станции, ракеты «Першинг» с подлетным временем, позволяющим уничтожить нефтяные поля Западной Сибири. Мы действовали в интересах мировой социалистической системы, во вред американскому милитаризму. Это была ваша, молодые люди, Испания, вам надо этим гордиться, друзья мои!»

Но этому ответу не суждено было прозвучать. Оператор утопил клавишу с надписью «Паркинсон». В спинной мозг истязаемого, в раскрывшуюся чакру копчика, в затылочные позвонки, в мозговые центры, управляющие речью, вонзились бесшумные энергии. Маршал дернулся, вывалил белый мучнистый язык, скорчился в кресле. Руки его мелко затряслись, ноги беспомощно заскользили. Он стал заваливаться, цепляясь за подлокотники.

– Эх, дураки... «Аллах акбар!»... «Идут караваны, сидят в них душманы...» Товарищ Генеральный секретарь... О-у-э-а-о-о-о... – застонал он, ворочая набухшим языком, который казался мокрой розовой мышью, застрявшей у него во рту.

После этого один за другим посыпались вопросы ведущего:

– Не кажется ли вам, что наша идеология слишком проникнута милитаристским духом? Все эти фильмы про войну, военные парады, помпезное празднование Победы, которое не соединяет, а разделяет советский и немецкий народы?

Маршал уже не отвечал, а лишь беспомощно постанывал. Оператор нажал клавишу с надписью «веселящий газ», и пациент вдруг блаженно улыбнулся, стал зевать, исходить дурацкими смешками, словно его щекотали.

– Благодарю за ответ, – съязвил Зеленкович. – Но, вопреки уверениям военного руководства, наша армия не является «коллективным воспитателем» молодого поколения, напротив, она насаждает самые бесчеловечные, зверские отношения между людьми. Я имею в виду неуставные отношения, которые напоминают блатные законы тюрьмы. Сколько молодых людей возвращаются из армии с искалеченной психикой!

Оператор коснулся клавиши с надписью «трепанация». Спинка кресла стала наклоняться, голова подопытного откинулась навзничь.

– Откуда, скажите на милость, такая жестокость у наших военных? Такая бесчеловечность? Я имею в виду случай с японским пассажирским лайнером, который был сбит советской ракетой. Ведь мы с вами знаем, что разговоры о «разведывательном полете», о «самолете-шпионе» – все это вздор. Нужно быть палачом, чтобы пустить ракету в переполненный пассажирами «боинг», не пощадив ни детей, ни женщин.

К черепу Маршала потянулась присоска.

– Но теперь, товарищ Маршал, когда между вами и телезрителями установились доверительные отношения и они видят в вас прогрессивного человека, разделяющего новое политическое мышление, ответьте откровенно. Разве вы не чувствуете возможность военного переворота? Разве не исходит от реакционных армейских кругов угроза нашей перестройке? Мы знаем, что далеко не все военные готовы поддержать путчистов. Есть честные генералы, истинные демократы в погонах, которые не отдадут приказ стрелять в народ. И даже, в случае военного мятежа, готовы перейти на сторону народа. С кем будете вы, товарищ Маршал?

Бригада хирургов ставила вертикально спинку кресла, в котором бессильно лежал пациент. Его долгоносая, бледная голова была плоско срезана на вершине. Череп накрыли крышкой. Шов смазали клеем. В просверленные лунки засыпали костяные стружки. Наложили прозрачную, почти незаметную перевязь. Маршал величаво восседал в кресле, блестя золотыми погонами с огромными звездами, прямой, подтянутый, обаятельный.

– На этом я хочу поблагодарить нашего гостя. Надеюсь, мы еще встретимся в эфире с этим замечательным человеком, – улыбался Зеленкович. – А теперь перейдем ко второй части нашей передачи.

Камера поплыла от Маршала в сторону. К нему тут же подскочили ассистенты. Подхватили за руки, с силой вытащили из кресла. Поволокли из студии. Маршал гордо, не мигая, смотрел перед собой окаменелыми глазами. Тощие ноги с алыми лампасами бессильно волочились. Он напоминал восковую фигуру, которую переставляют с места на место. На мониторах пульсировали вспышки и импульсы. Это бился в прозрачных тенетах отобранный у Маршала образ. Бесшумно кричал от боли.

– Чашечку кофе, Виктор Андреевич? – Зеленкович, немного усталый, вытирал руки гигиенической салфеткой. – У нас есть четверть часа, пока в эфире документальный фильм из Прибалтики. Все-таки «Саюдис» – это великое освободительное движение! Живая цепь на десять километров с цветами, свечами. Ее тоже из вертолетов расстреливать? Не выйдет! После таких передач, как та, что вы только что видели, это уже невозможно! Вам понравилось?

– Мне нечему вас учить, – Белосельцев уже овладел собой. – После такой передачи Генеральный штаб не способен провести даже взводные учения, не то что войсковую операцию.

– Но это еще не все! – Зеленкович был польщен. – Это лишь первая волна бомбардировки. Пауза – десять минут, и новая волна, добивающая. Этот принцип двойного воздействия мы почерпнули из теории тотальной воздушной войны итальянца Дуэ. Он приложим и к тотальным информационным войнам, которые мы сегодня ведем. Я раскрою перед вами все карты, Виктор Андреевич. Мне нечего скрывать от человека, с которым предстоит совместная работа. Методика, с которой я вас сейчас познакомлю, называется «вибрация мира». – Мино-вав тонкую перегородку, они перешли в соседнюю студию.

Здесь тоже были телекамеры, осветители с цветофильтрами, зеркальные панели, система стеклянных призм, параболические отражатели. Все вместе напоминало обсерваторию или оптическую машину, еще незапущенную, без вспышек, лучей, бегающих спектров и радуг.

На полу перед камерами были небрежно разбросаны электрогитара, саксофон, синтезатор, барабан. Тут же, на полу, сидели странные персонажи в драных джинсах, потертых куртках, линялых потных майках. От них пахло дымом свалок, испарениями больниц и дешевых шашлычных. Они напоминали типов, что появлялись вечерами в переходе на Пушкинской площади, выползая из своих нечистоплотных убежищ, где прятались от солнечных лучей. Были вялые, мятые и болезненные. Их немытая кожа с едва заметными признаками распада казалась дряблой, сморщенной, зеленоватого цвета плесени.

Белосельцев узнал в них членов известной рок-группы «Перемены», сводившей с ума экзальтированные молодежные толпы. Ее солист, тощий скуластый кореец с ревматическими вздутиями запястий, полусонно смотрел на вошедших, вытащив из башмаков большие ступни в носках, сквозь которые из дыр выглядывали желтые загнутые ногти. К его плечу привалился бритый наголо негр. Казалось, он спал с открытыми глазами – фарфоровые голубоватые белки, красный рот с влажным выпавшим языком, маслянистый, безволосый череп, бессильные кисти рук, отвисшие под тяжестью металлических перстней. Тут же притулился маленький белесый человечек, по виду вепс или эстонец, – не мигая что-то вяло жевал, отчего в уголках его дряблого рта скопилось желтоватая пенка. Отдельно, согнув в коленях длинные ноги в рабочих ботинках, опираясь на сильные, со стиснутыми кулаками руки, с огромной носатой головой и пышной, отлетающей назад шевелюрой, напоминающей хвост черной кометы, сидел человек в майке с американским флагом, на которой желтело пятно засохшего пота.

– Хай! – Зеленкович, войдя, щелкнул в воздухе пальцами, привлекая к себе внимание. – Мальчики, пора просыпаться. Через десять минут – эфир.

– А ты разбуди, – сонно ответил кореец, передернув в судороге желтые скулы.

– Хотите кольнуться? – весело спросил Зеленкович.

– Давай хоть клизму, – сказал негр, с трудом шевельнув языком.

– Мальчики, встаем, встаем! Пора кушать! – Зеленкович повернулся к дверям и снова щелкнул пальцами.

В дверь протиснулся маленький человек в белом халате, с кожаным саквояжем. Смуглое мохнатое рыльце, темные веселые глазки, седенькие волосы, окружавшие коричневую лысину, чуткие, в пуху, округлые ушки делали его похожим на мартышку, которая обеими лапками держала перед грудью саквояж, словно орех кокоса.

– Что за уебище? – с отвращением спросил кореец.

– Мутант, – отозвался барабанщик.

– Может, ему гитарой по жопе? – предложил негр.

– Мальчики, это наша знаменитость, доктор Адамчик, – представил вошедшего Зеленкович. – Он вам сделает укольчик сыворотки из крови неродившихся младенцев. У вас тотчас вырастут крылышки. И вы станете летать на экране.

– А можно не укольчиком, а просто из кружки хлебнуть? – устало поинтересовался негр.

– Вампир? – безразлично спросил кореец.

– Эту инъекцию доктор Адамчик вкалывает самому Президенту России, – рекламировал тонизирующее средство Зеленкович. – Только благодаря этой подпитке Президент справляется с нечеловеческими нагрузками.

– Он же урод, Президент, – произнес вепс.

– Зато наш урод, – уточнил человек в майке с американским флагом.

– Мальчики, кончайте пиздеть. Эфир через семь минут. – Зеленкович повернулся к морской свинке, которая дружелюбно обнюхивала всех розовым носиком, мигала маленькими милыми глазками. – Доктор, превратите этих сонных карликов в великанов.

Доктор открыл саквояж. Извлек из него флакон с желтоватой жидкостью. Пухлый шприц с толстой иглой. Зачехлил свои ловкие лапки в резиновые перчатки. Пронзил иглой резиновую пробку флакона. Всосал целебный настой. Вытащил иглу и брызнул вверх летучим фонтанчиком.

– Нуте-с, молодые, талантливые, – по-отечески обратился Адамчик к музыкантам. – Будем кататься, будем саночки возить.

Когда инъекция была закончена, Зеленкович хлопнул в ладоши, сел в кресло ведущего, приглашая к пультам и установкам операторов, указывая Белосельцеву место в дальнем конце студии.

– Внимание, мальчики, эфир через три минуты!

Белосельцев из темного угла видел, как происходит чудо. Кореец, минуту назад сонный и дряблый, стал наливаясь силой и бодростью. Его сухожилия стали свежими и подвижными. Тело выпрямилось, напряглось, по нему прокатывались конвульсии нетерпения, ярости. Схватил гитару и нанес ей страстный, больной удар, отчего все струны разом возопили, загрохотали, ссыпая с себя электрические безумные брызги. Стоял перед микрофоном, острым плечом вперед, похожий на тореадора. По его скуластому лицу пробежали молнии света, горло, наполненное глухим утробным рокотом, вздулось жилами, словно внутри заработал, набирал обороты могучий двигатель.

Негр стал великаном. Было видно, как на мускулистой груди взбухает и опадает огромное сердце. На голом черепе взбухли черные вены, в которых бурлила и дрожала кровь. Шея, толстая, словно чугунная колонна, покрылась потом, и он казался огромным сосудом, переполненным черной ртутью. Извлек из барабана древний африканский звук, которым в джунглях будят угрюмого бога.

– Пять секунд до эфира! – выкрикнул истерический, измененный мегафоном голос.

Вспыхнул яркий аметистовый свет. Отразился в плоских зеркалах. Свернулся в тонкий слепящий луч. Пробежал сквозь призму, разлагаясь на ослепительные спектры. Стал скакать,

метаться, уловленный в оптическую машину, словно вращалось в прозрачном объеме огненное веретено.

– Мы требуем пе-ре-мен!.. – кореец с гитарой шагнул вперед, жутко набычив голову. Выставил челюсть, ударяя струны, подпрыгивая, стуча башмаками о землю. Воздел к небу глаза, словно выкликал кого-то из клубящихся, обвитых молнией туч. – Пе-ре-мен!.. Пе-ре-мен!..

Белосельцев почувствовал, как колыхнулось пространство и в грудь ударила сложная, из множества колебаний, волна, от которой стало дурно и тягостно, как перед бедой.

– Пе-ре-е-мен-н-н-н!.. – негр бил в ударник, рокотал, подбрасывал звук, выворачивал его наизнанку. Дробил на молекулы. Лепил из них новые формы. Похожие на змей. На уродливых рыб. На оголтелых стремительных птиц. На выползающих из земли червей. На удушающие ядовитые цветы. На растерзанную плоть. На вырванное бурей дерево. Эти образы вырывались один из другого, и Белосельцев чувствовал, как качаются основы мира, дрожит земная кора, и ноги его чувствуют землетрясение.

Оптическая машина, уловившая луч света, разгоняла его, сворачивала в спираль, сжимала в сверхплотное пятно. Манипуляции света сотрясали пространство, меняли ход времени, и мироздание распадалось, выворачивалось наизнанку.

– Мы требуем перемен-н-н-н!..

От этих вибраций крошился бетон подземелий и шахт, превращались в труху боеголовки, начинали плавиться танки. По кремлевским башням бежали трещины, останавливались куранты, выпадали рубиновые пластины из звезд. Высыпали на улицы толпы наркоманов и панков, бушевали демонстрации в Риге, в Тбилиси подростки сжигали советский флаг.

Белосельцев чувствовал космический ужас, словно к земле приближался метеорит и было невозможно избежать столкновения. Он хотел уменьшиться, превратиться в кузнечика, спрятаться в корнях травы, чтобы переждать катастрофу, пропустить над собой смерч разрушений, волну потопа, испепеляющий землю пожар.

– Виктор Андреевич, вы где? – раздался бодрый голос Зеленковича. Белосельцев не откликнулся. На переломанных ногах, держась за стену, он покидал фантастическую студию.

Глава четвертая

Бизнес-клуб размещался в министерстве, неподалеку от Китай-города, в уныло-тяжеловесной конструктивистской громаде. Сквозь нее вели одинаковые, нечистые коридоры с мигающими люминесцентными лампами, похожие на сумрачные туннели, с бесконечными рядами одинаковых дубовых дверей. За каждой – однотипное убранство кабинета, крашенные масляной краской стены, стандартные шкаф и стол, телефоны и какой-нибудь помятый служащий среди потертых папок, бумажных кип, плохо вымытых глиняных кружек с остатками вина или чая. Бизнес-клуб расположился в отдаленном углу министерства, отсеченный от коридора сплошной стеклянной панелью, за которую не пускал строгий страж в униформе. Здесь стояли итальянские диваны и кресла, удивительно удобные и уютные, в морщинах и складках, как кожа на боках носорогов. На стеклянных журнальных столиках небрежно лежали «Таймс», «Ньюсуик», «Шпигель». Красивый бар с медной стойкой сверкал заморскими флаконами, поражающими экзотическим разнообразием после выморочных винных отделов с одинаковыми грязно-зелеными бутылками, предназначенными для истребления вражеских танков. Стены в матовых шершавых обоях. Чудесный камин с тлеющим рубиново-черным поленом. Столики с крахмальными скатертями и салфетками, с дорогим стеклом и фарфором, с хрустальными подсвечниками, в которых стояли целомудренно белые, ни разу не зажигавшиеся свечи. Каждый предмет, каждая серебряная ложка, каждая абстрактная картина в нарядной раме были доставлены по морю или воздухом, свидетельствовали о безбедной жизни, иной красоте и достатке. И даже официанты, вышколенные, в малиновых сюртуках, с салфетками наперевес, казалось, были вызваны на один только вечер из парижского или нью-йоркского ресторана.

Когда Белосельцев вошел, здесь было весьма людно. В диванах и креслах удобно утонули собеседники. Другие прогуливались, пуская ароматные дымы дорогих сигарет. Третьи снимали с подносов бокалы с вином, толстые стаканы с виски. Держали на весу, отпивая, неспешно кружили по залу, подходя к открытым дверям, откуда виднелась плоская крыша, превращенная в сад, горели огни вечернего города, веяло прохладой.

– Виктор Андреевич, гость долгожданный! – Ухов, невысокий, юркий, остроглазый, появился перед Белосельцевым, создавая на лице из коричневых чутких морщин сложный узор дружелюбия, разбегающийся орнамент гостеприимства, затейливый иероглиф доверия и симпатии. – Для вас заказан отдельный столик. Быть может, сегодня за этим столиком окажутся вместе два выдающихся мыслителя, взгляды которых на бытие определяют ход нашей новейшей истории. – Он создал из морщин сложную паутину, в которой билась лукавая мысль. – Наш великий Академик захотел приехать и лично познакомиться с новым классом собственников, который мы создаем. Ведь именно этот класс становится локомотивом истории. Этот капиталистический класс должен воспринять идеи великого человека, чтобы реализовать их на практике. Кроме того, мы ждем Финансиста, который должен привести новостей на три миллиарда долларов!

Нельзя было понять, говорит ли Ухов искренне или насмехается над престарелым, выживающим из ума Академиком, а также над пестрой публикой, которая, изображая сливки общества, была неуверенна, встревожена, ожидала подвоха.

– Все, кто сюда приглашен, прошли тщательный отбор и тестирование. Когда рухнет неуклюжая и полуживая советская экономика, именно этим людям перейдет во владение социалистическая собственность. У них большое будущее, впереди их ждет богатство и большая ответственность. Знакомства, которые вы завяжете сегодня, будут знакомствами с завтрашними миллионерами.

Мимо них проходил рыхлый крупный толстяк с лысой, желтой, словно дыня, головой, черными усиками Чарли Чаплина, с бегающими чернильными глазами, полными хитрого и трусливого блеска.

– Заметьте, это крупнейший теневик из Тбилиси. Сделал миллионное состояние в подпольных цехах, производящих пластмассовые плащи и зонтики. Два раза сидел в тюрьму. Теперь ему собираются передать во владение Уралмаш и ижорские заводы, делающие ядерные реакторы для подводных лодок. Его путь – от простых зонтиков к ядерным! – Ухов захохотал. Теневик повернулся на его смех огромной рыхлой бабьей грудью.

Им поклонился издалека высокий, в превосходно сидящем костюме красавец, своим открытым лицом, светлыми, над широким лбом волосами, синими дерзкими глазами похожий на Валерия Чкалова.

– А это знаменитый «красный директор», – пояснял Ухов, гордясь коллекцией собранных видов. – Он дважды Герой Соцтруда, управляет половиной автомобильной промышленности, которая вся перейдет в его собственность. Наш будущий русский Форд.

Двое чокались бокалами с шампанским как старые знакомцы, пожимали друг другу руки. Один – круглолицый коротышка в неловко сидящем костюме, в потертом, плохо завязанном галстуке, похожий на бухгалтера. Другой – восточный красавец, элегантно одетый, с многоцветной бриллиантовой капелькой в шелковом галстуке.

– Вот тот вахлячок – начальник дальневосточной рыболовецкой флотилии, которая ловит кальмаров и крабов от Курил до Камчатки. Миллионные доходы, торговля с Японией. Ему перейдет флот, и он станет собственником богатейших в мире морских ресурсов. Второй, бакинец, контролирует нефтедобычу в Сургуте, Нижневартовске, Саматлоре. Ему уготована роль владельца частной нефтекомпании, сопоставимой со «Стандарт Ойл». Так что эти двое скоро получат дары Божьи, – «дары земли» и «дары моря».

Молодой человек, сдобный, лысый, покрытый белым пухом, с голубыми, водянисто сияющими глазами. Рука в кармане итальянских брюк, нога в плетеной туфле картинно отставлена.

– Очень перспективный банкир. В комсомоле вел финансовые операции в международном отделе. Под него создается крупный коммерческий банк. «Деньги партии», как их называют, будут закачивать в его финансовую структуру. Говорят, на него есть компромат, фотографии, где он участвует в оргии с молодыми комсомолками на курортах Крыма. Ничего страшного – отличное средство контроля за финансовой деятельностью. – Ухов изобразил морщинами сложную гамму чувств, от восхищения до глубокого сожаления. Сжал все морщины в плотный кожаный пучок и спрятал в глубину лица, как осьминог щупальца. – Я вас ненадолго оставляю, Виктор Андреевич. У вас обширное поле для наблюдений. – Ухов ушел, маленький, шустрый, раздавая поклоны, целуясь, похожий на пчелку, перелетающую с цветка на цветок.

В гостиную у входа возникло оживление. Публика, будто в каждом был маленький чуткий компас, устремила свой взор на север. Но вместо Полярной звезды на пороге возник очень полный человек в прозрачных складках жира, ниспадающих от желеобразного подбородка на оплывшие плечи, тучную грудь, выпуклый непомерный живот, до огромных ляжек, которые колыхались в брюках, словно два холодца. Человек был по-детски румян, благодушен, весело мерцал маленькими синими глазками.

«Финансист», – узнал Белосельцев могущественного распорядителя партийной казны, из которой непомерные деньги омывали огромный архипелаг партийных организаций и центров на всех континентах. Были загадочным «золотом партии», которое когда-то, на заре века, появилось в России. Свергло монархию, выиграло Гражданскую войну, легло в основу «цивилизации Советов», окропив строительство заводов-гигантов, университетов, электростанций. Скрылось из вида среди финансовых потоков неоглядной, разбогатевшей страны, преврати-

лось в миф, в легенду. Но тайно присутствовало, упрятанное в неведомых катакомбах, как неразменный рубль, магический слиток.

– Господа, к столу, к столу! – громко выкрикнул Ухов, хлопая в ладоши, давая знак величавому, похожему на лорда метрдотелю.

Все усаживались за столики, разводимые по местам всеведущим метрдотелем. Бело-сельцев оказался один за сервированным столом, среди сверкавших хрусталей и фарфоров. Смотрел, как склоняются в осторожных поклонах официанты, зажигают свечи в стеклянных подсвечниках, показывают гостям толстокожие скрижали с перечнем блюд. И те, одолевая смущение, не привыкнув к респектабельной обстановке закрытого клуба, где каждый должен был чувствовать свою избранность, аристократизм, особую, вмененную ему роль, – стелили на коленях малиновые салфетки, засовывали их себе за ворот, разглядывали меню.

И вот потекли подносы, влекомые молчаливыми статными слугами, напоминавшими танцоров магического ритуального танца. Величаво ступали, как манекенщики на подиуме. Застывали на мгновение. Плавно поворачивались, давая залу обозреть вносимое блюдо, на котором лежал молодой барашек с коричневой румяной спинкой, стоящий на коленях в позе жертвенного агнца, с темными, словно маслины, кроткими глазами. Рядом – такой же аппетитный, лакированный и блестящий от масла поросенок с подогнутыми копытцами и смешным милым рыльцем, на котором застыла детская улыбка. Огромный зазубренный осетр с колючей мордой и зубчатой спиной, напоминавшей пилу, с острыми, как оперенье мины, хвостовыми плавниками. Громадные, словно ядра, жареные индейки и гуси с бумажными плюмажами на хвостах, с разноцветными хохолками на головах. Это животное царство, ощипанное, ошкуренное, опаленное, начиненное овощами и фруктами, политое благовонным елеем, излучало таинственный свет даров, принесенных на алтарь могущественному божеству. И те, кто созерцал явление даров, кто был готов их поглощать, пережевывать и усваивать, сознавали себя служителями священного культа.

Рыбы, птицы и звери, покружив среди столов на серебряных блюдах, исчезли, чтобы через минуту явиться на подносах в расщепленном виде, пригодном для поедания.

Официанты с изяществом балетных танцовщиков, в полупоклонах, поддерживая за донце и горлышко черные бутылки с наклейками, показывали гостям вина Франции и Италии, наливали в фужеры золотое, розовое, черно-красное вино, ловко подхватывая салфеткой падающую пунцовую каплю, показывая гостю, как мягко она расплывается на крахмальной ткани.

– Господа! – Ухов легонько постукивал ножом по звонкому хрустальному бокалу, привлекая внимание. Превращал морщины лица в расходящиеся солнечные лучи. – Наш торжественный сбор, наш товарищеский ужин объявляю открытым. И было бы естественным предоставить первое слово, услышать первый тост от человека, которому мы все обязаны нашим замечательным настоящим и нашим победным будущим и о котором каждый из нас, не сомневаюсь, сложит свою фамильную легенду, свое родовое предание. Родословная новых российских банкиров, гербы новых купцов, история наших гильдий и торговых домов так или иначе сохранит память о своем главном зачинателе и родоначальнике! – Ухов повернулся к Финансисту, приглашая его произнести первую застольную речь. Все собравшиеся неистово зааплодировали.

Толстяк, преодолевая гравитацию Земли, отжимал свой вес трясущимися ляжками. Подымая себя на толстых колоннах ног, возвысился над столом.

– Товарищи дорогие, – он преодолевал одышку, словно поднялся на высокую гору. – Вы те, кого мы тщательно отбирали, лучшие из лучших, талантливые из талантливых, чьи личные дела и досье я читал собственными глазами, – он дружелюбно замигал синими бусинами. – Вы составите новый класс советских капиталистов, которых партия создает собственными руками, по замыслу наших партийных теоретиков и экономистов. Социалистическая собственность скоро станет вашей собственностью, но при этом по-прежнему будет служить социализму.

Финансист говорил как добрый наставник и терпеливый учитель. Белосельцев вспомнил школьную карту с нанесенными на нее месторождениями золота, меди, алмазов, значками заводов и домен, электростанций и морских портов. Тому, бледнолицему, с иссиня-черными язычками волос на подбородке и над верхней губой, перейдут кемберлитовые трубки Якутии. Тому, жадно внимавшему, забывшему закрыть сладострастно дышащий рот, достанутся газовые месторождения Уренгоя. Тому, что слушал Финансиста, как слушают великих музыкантов, прикрыв глаза, с недвижной мучительно-сладостной улыбкой, отойдут электростанции Енисея. Тот, с белыми костяшками длинных, сцепленных пальцев, станет владельцем сталеплавильного комбината в Липецке. Все они знали свои будущие вотчины – бывшие стройки коммунизма, жемчужины советской промышленности. Сидели с большими ножницами, готовые вырезать из географической карты принадлежавшие им рудники и заводы.

– Мы наделяем вас огромными правами, но это не значит, что вы будете бесконтрольны, – продолжал Финансист. – Мы передаем вам огромные ценности государства и будем следить, чтобы вы ими правильно распорядились. Каждого, кого мы делаем банкиром, или медным магнатом, или президентом нефтедобывающей компании, мы станем контролировать. Помогать в трудных ситуациях. Учить тех, кто невольно ошибается. Но строго наказывать тех, кто злоупотребляет доверием партии...

Белосельцев почувствовал, как воздух перед его глазами стал прозрачнее и голубее, выгнулся, словно оптическая линза. Стало видно далеко во времени и пространстве, как если бы он обрел ясновидение. Тот вальяжный, в кружевной рубашке и бабочке, с бодрым коком, насмешливый и презрительный, будет убит по наущению своего визави, златозубого кавказца, с которым не поделят игорный бизнес, и растерзанный взрывом «Мерседес», заляпанный мозгами и кровью, мелькнет на экране, напугав телезрителей. Тот лысоватый, с кучей бородкой и хрупкой гусиной шеей, знаток финансовых махинаций и биржевых торгов, умрет мучительной смертью, не обнаружив в кожаном кресле крупниц радиоактивного цезия, испепелившего его прямую кишку. Его сосед, с пышными усами, в золотых очках, явившийся после стажировки в Оксфорде, будет найден в подъезде с кровавой дырой во лбу. Страна узрит его пышные похороны, идущих за гробом друзей и партнеров по бизнесу, среди которых, печальный, весь в черном, пройдет неузнанный убийца.

– Мы, вашими усилиями и умами, создаем общество гармоничных отношений между трудом и капиталом, властью и бизнесом. Мы сдвинем нашу страну с мертвой точки и покажем миру русское чудо. Не сомневаюсь, к началу двадцать первого века мы станем самой процветающей и счастливой страной мира...

Белосельцев видел взрывы, раскалывающие страну, как огромную льдину. Багровые, по всему горизонту пожары, дороги, по которым пылят погорельцы и беженцы, бесчисленные кровавые схватки, где сшибаются ненавидящие друг друга народы. Видел танки, стреляющие в центре Москвы, дымящиеся дыры на фасадах дворцов и соборов. Видел города, стираемые до земли ударами штурмовиков. Все беды и ужасы, с которыми прежде встречался на воюющих континентах Азии и Африки, рванулись в его страну, проломили границы, наполнили Родину непомерным страданием, среди которого, отгороженные стенами, овчарками, охраной, электрическим током, восседали новые владельцы страны – те, что слушали сейчас Финансиста.

– Итак, дорогие товарищи, – толстяк своей маленькой ручкой поднял стакан с вином. – Мы передаем вам деньги, рудники и заводы, но тесная связь между вами и нами сохраняется. Каждая отданная вам копейка, каждый полученный вами станок останутся под нашим контролем и в случае несоблюдения договора будут немедленно отображены. – Финансист оглядел всех своими синими веселыми бусинками и выпил вино.

Все радостно аплодировали, картинно чокались, пили стоя. Поглубже засовывали под пиджаки малиновые салфетки. Накладывали на фарфор осетров, поросят, розовых крабов. Цепляли вилками бараньи семенники, телячьи языки, воловь глаза, антилопы хвосты, змеи-

ные тушки, содержимое перламутровых раковин. Подливали вино из подвалов бургундского герцога. Ликовали, радовались, как дети. Обменивались визитками, заключали договоры, пили здоровье благодетеля, который колыхался ниспадающими волнами жира, благодушно слушая льстивого, подобострастного Ухова.

Внезапно звон бокалов, хруст костей, гомон и смех прекратились, и все общество разом оборотилось к дверям. Ухов, как заяц, скакнул из-за стола и прытко кинулся к порогу. Там появилась долгожданная супружеская чета. Великий Академик, творец термоядерной бомбы, мученик и диссидент в недавнем прошлом, а ныне «совесть нации» и духовный отец реформ. Рядом его жена, верный спутник, подруга, разделившая с ним ссылку и мучительные раздумья о судьбах мира.

Оба стояли у порога, слушая нарастающие овации. Белосельцев, ожидавший явление Демиурга, остро и жадно всматривался.

Академик был худ, чуть горбат, с нежной розовой лысиной. Его голова свесилась набок на хрупкой беспомощной шее. Движения были неустойчивы, ноги шаркали, губы и подбородок слабо тряслись, и он подслеповато взглядывал водянистыми голубыми глазами, в которых скопились и не вытекали прозрачные, как березовый сок, слезы. Его жена, напротив, была крепка, жилиста, с твердыми беспощадными губами и маленьким плотным клювом, к которому, казалось, прилип белый пух, склеванный с головы Академика.

Ухов, кланяясь, извиваясь, складывая из морщин множество самых разных фигур, вел чету прямо к столику, за которым сидел Белосельцев. Академик, повалив к плечу голову, тряс перед грудью бессильными бледными пальцами, неверно ступал, боясь поскользнуться, похожий на понтифика, у которого начинала развиваться «трясучка», что придавало ему сходство с блаженным.

– Прошу вас, – усаживал Ухов сначала жену, а потом ее мужа, представляя им Белосельцева. – Надеюсь, вам будет за этим столом интересно. Что желаете выпить? – через плечо он щелкнул пальцем официанту.

– Мне пепельницу! – строго приказала жена, недовольно осматривая сервированный стол, на котором было все, кроме пепельницы. – Еды не надо. Мы только что отужинали у Бориса Николаевича. Мне бокал вина, ему, – она указала на Академика, – стакан нарзана. Дорогой, тебе пора принимать таблетку!

– Мы будем ждать от вас напутственного слова, – обратился Ухов к Академику. – Собравшаяся здесь публика воспитана на ваших идеях.

Жена извлекла из сумочки серебряный портсигар с рельефом змеи, у которой в голове мерцали два крохотных рубина. Достала длинную сигарету, кофейно-коричневую, тонкую, с изящным золотым ободком. Официант тут же протянул огненный язычок зажигалки. Она прикурила, отчего на конце сигареты зажегся таинственный, как в голове у змеи, рубин. Долго, с нарастающим звуком, вдыхала дым. Оторвала от сигареты губы, обнажив ряд пожелтелых зубов. Выдохнула дым долгой ядовитой струей, умело направив ее точно в ухо Академика. Переполненный дымом, тот задохнулся, стал терять сознание, глаза его выпучились, как у рыбы, выдавив две крупных слезы.

– Дорогой, съешь таблетку, – из того же портсигара она извлекла зеленоватую облатку, спрессованную из какой-то высушенной плесени. Засунула ее в рот Академику, с силой вливая нарзан в нераскрывающиеся губы. Академик, привыкший к насильственному питанию, слабо глотнул, приходя в себя, умоляюще глядя на Белосельцева. Жена сильным красивым жестом стряхивала сигарету в пепельницу, посыпая горячим пеплом стеклянные радуги.

Белосельцев исподволь рассматривал Академика, стараясь угадать в нем Демиурга. Все говорило за это. Под розовой голой лысиной, под сводом хрупкого черепа таился гигантский мозг, создавший бомбу, хранивший знания об истинном устройстве материи, о скорости светового луча, о магической трансформации элементов, о превращении урана в плутоний, пепла

в алмаз, глины в золото, добра во зло, женщины в мужчину. Слезящиеся голубые глаза видели Лаврентия Берию, солнечный блеск его очков, горящее золото зубов под черными усиками, синеватые бритые щеки, когда вместе стояли на вышке, прижав глаза к окулярам. В казахстанской пустыне полыхала слепящая вспышка, медленно всплывала огромная, розовая, во все небо, медуза, окруженная пышными кружевами, гул от удара трижды obeжал землю и замер в остановившихся наручных часах. Его бескровные дрожащие губы что-то нашептывали, какое-то тихое заклинание, от которого замирал ход времен, история государства меняла свое направление, свертывалась, как стебель, потерявший из виду солнце, начинала извиваться в потемках, пока не упиралась в камень глухого подвала, куда поместили ее волхования великого чародея. Этот дряхлый телом подвижник с лицом идиота властвовал над умами, приводил в восторг толпы, диктовал вождям, останавливал армии, готовил изъятие «красных мощей» из Кремлевской стены. Сидящий перед ним человек был несомненно Демиург, управлявший всеми элементами «оргоружия». Создавший, вслед за ядерной, сверхмощную «организационную бомбу», после взрыва которой развернется котлован размером в шестую часть суши, наполненный ртутным паром.

– А сейчас мы послушаем нашего драгоценного гостя, чьи великие открытия в физике соизмеримы лишь с величием его гражданского подвига. При всей своей огромной занятости он выделил время для встречи с нами, и я хочу, чтобы вы запомнили его слова и передали их благодарным потомкам, – Ухов захлопал, обращая свое кожаное лицо к Академику.

– Дорогой, ты должен сказать, – жена больно ущипнула Академика за тощую ляжку. Засунула ему за пазуху салфетку, вставила в пальцы сосуд с нарзаном, заставила встать.

– Я... мы... мне хотелось сказать... я бы очень хотел... – заблеял он, как печальный бекас, стараясь схватить разбегавшиеся мысли. – Как все человечество... с новым политическим мышлением... преодолев трагическое расщепление эпохи... в чем, конечно, зловещая роль коммунизма... Братья мои, смирим ожесточенные наши сердца, укротим страсти и похоти, обратим духовные очи наши ко Господу Милосердному и Благому... – он сложил молитвенно руки, воздел к потолку страдающие глаза. Но жена снова больно ущипнула его. Сделала долгую сипящую затяжку и, не подымаясь со стула, пустила ему в ухо длинную точную струю дыма. Академик задохнулся, обомлел, выпучил глаза. Застыл в столбняке, переполненный никотиновым ядом. Дым медленно выходил из его ноздрей, приоткрытого рта, из рукавов пиджака, из мятых, вислых штанин. Стоял, окутанный вялым дымом, словно тлел изнутри.

– Дорогой, продолжай, – тихо приказала жена.

– Мне выпала честь... на переломе истории... конвергенция двух систем... ибо ряд общих черт... в творчески преодоленном марксизме... Братья, любите друг друга, простите врагов своих, накормите голодных, обогрейте вдов, утешьте плачущих, отворите сердца навстречу Богу Живому, ибо нерукотворен сотворенный Господом мир, и Ангел Его несет нам Благою Весть... Как вы знаете, молчаливо-послушное большинство... творческих усилий межрегиональной группы... обращаемся к народам Прибалтики... остановить ползущую гидру реакции... Братья мои, един Господь, и блаженны исполняющие волю Его, ибо в основании мира лежит всеблагая, всеобъятная любовь Господа к тварям своим, в коих брезжит немеркнущий Свет Божий...

Жена сильно дернула Академика вниз. Он больно упал на стул, ударившись костлявыми ягодицами. Она улыбнулась залу, припала к его устам, делая вид, что жарко целует, сама же впустила в него клубящуюся, полную копоты и синильных ядов струю, в которой смешался дым сигареты и ее собственное, отравленное дыхание. Академик на секунду потерял сознание. Пребывал в состоянии клинической смерти. Его душа неслась по узкому туннелю, навстречу пятну света, в котором кто-то ждал его, дорогой и знакомый, с темными усиками, поблескивая стеклышками пенсне. Душа не долетела до светлого пятна, вернулась в мир. Академик лишь на секунду вкусил жизнь после смерти. Опять оказался среди людей, делающих перестройку.

Кругом аплодировали, пили его здоровье. Жена пересела за соседний столик к молодому талантливому бизнесмену с румянцем на молочных щеках. Положила ногу на ногу, пленая синими костяшками колен. Курила, вертелась, занимала собеседника умной язвительной речью, в которой обсуждала проблему разоружения.

– Я скоро умру, – тихо сказал Академик, поражая Белосельцева синевой сияющих плачущих глаз. – Она хорошая женщина, но тот, с кем она прежде жила, возил на ней большие бочки солений. Такое не проходит даром, и поэтому она долго училась в Институте Гумбольта.

Кругом гомонили. Официанты едва успевали подливать вино. Несли на растопыренных пальцах тарелки с дымящимися яствами, словно флотилии инопланетных кораблей снижались из неведомого Космоса. Жена, окруженная поклонниками, рассказывала им, как принимала Академика английская королева и сколько соды следует добавлять в манную кашу, чтобы она приобрела вкус настоящего пудинга.

– Я знаю вас, – тихо произнес Академик, доверяясь Белосельцеву, используя краткое время, когда ослабел контроль и почти весь дым вышел из обессиленного организма. – Вы – отец Иннокентий из Храма Флора и Лавра, что в селе Починки, в трех верстах от Большой Угры. Спасибо вам за совет. Как вы и сказали, мы начали печь просфоры в обычной духовке, смазывая противень топленным маслом. Я хочу вам исповедоваться, отче. Я постился вчерашний и сегодняшний день, хотя на встрече с интеллигенцией меня пытались насильственно накормить. Не понимают, что я питаюсь ее дыханием. Моя Лена выдыхает чистую прану, и мне ее хватает для поддержания жизни, – дым тихо сочился из его рукавов, в глазах стояли голубые слезы огорченного ребенка. – Отче, меня мучает страшный грех. Гнетет ужасная тайна. Позвольте мне исповедоваться.

Белосельцев слабо кивнул.

– Видите ли, отче, наши люди так до сих пор и не знают, чем был на самом деле советский ядерный проект. Все думают, что это был ответ американцам на Хиросиму и Нагасаки, создание ядерного щита. Ничего подобного. Это был план Сталина по установлению глобального контроля, для чего требовалось отыскать инструмент управления миром. Болт Мира – как называл его Лаврентий Берия в беседах со мной. От пленного эсэсовца, занимавшегося магией в Анэнербе, Берия узнал о существовании Болта Мира, который регулирует земную ось и меняет ход истории. Этот болт, по сведениям немцев, находился не в Гималаях, не в пустыне Гоби, как предполагали ранние исследователи, а в Черных горах Казахстана или на Северном Урале, продолжением которого является Новая Земля. Берия сообщил об открытии Сталину, а тот мобилизовал ресурсы страны, создал атомные заряды, с помощью которых взрывались горы и осуществлялся поиск Болта Мира.

Первые заряды, основанные на делении ядер урана, созданные Курчатовым, были недостаточной мощности, чтобы дробить глубинные породы гор. Я создал заряд, основанный на ядерном синтезе, водородную бомбу, как ее называют, способную раздробить внутренности любой горы и открыть доступ к земной оси. Эти взрывы производились на Новой Земле и в Семипалатинске якобы в экспериментальных целях. На самом же деле мы искали Болт Мира. Лаврентий Берия, великий мистик и футуролог, соблюдал строжайшую конспирацию. Представлял дело так, будто испытывается оружие, исследуются ударная волна, тепловая и световая радиация, воздействующие на боевую технику и сооружения, для чего в районе взрывов устанавливались танки, самолеты, строились макеты городов, сооружались подземные бункеры.

Мы с Берией любили наблюдать с вышки далекие взрывы, ослепительные вспышки и святящиеся грибы, в которые превращались испарившиеся горы. Когда уносилась радиоактивная пыль, Лаврентий Павлович направлял в район взрыва поисковые партии, и они среди щебня взорванной горы искали Болт Мира, огромную стальную колонну с резьбой, которая поворачивалась и меняла наклон земной оси, скорость вращения земли, ход исторического времени.

Однажды Берия сообщил мне, что хочет наполнить танки, кабины самолетов, квартиры экспериментальных домов живыми людьми, чтобы на них проверить проникающее действие радиации. К тому времени готовилось «дело врачей». Было много арестованных, многие признали свою вину, многих приговорили к расстрелу. Он сказал, что уж лучше пускай они таким образом послужат великому делу и хоть как-то искупят вину перед Родиной, чем бездарно погибнут от пули в тюремном подвале. Я сначала возражал, говорил, что нельзя экспериментировать на людях. Но он убедил меня, уверяя, что они не люди, если отравили Горького, зарезали на операционном столе Фрунзе, готовились погубить всех советских вождей, писателей и ученых, в списках которых находился и я.

Мы подготовили для взрыва очередную гору. Прорубили в ней штольню, проложили рельсы, закатали в центр горы термоядерный заряд. Американцы интересовались нашими взрывами, засылали шпионов, переодетых в казахских пастухов. Чтобы отвлечь их внимание, Берия расставил недалеко от горы изношенные танки, артиллерийские батареи, полевые кухни, фургоны с радиотехникой. В них разместили эков, приковали их в кабинах и блиндажах. Берия лично поехал осматривать позиции и пригласил меня.

Помню горячую сухую равнину, белесые, летящие перекасти-поле, похожие на голову Медузы Горгоны, солдат с автоматами. Гора, подготовленная к взрыву, стояла на краю равнины. Вход в нее был уже замурован, заряд находился в глубине горы, и Берия верил, что именно в ней таится Болт Мира. Он готов был радировать о находке Сталину. В стороне от горы, в пустыне стояли танки «Т-34» с открытыми люками. Я заглянул в один из них. Там сидел пожилой еврей, известный терапевт, небритый, заросший. Руки его были прикованы к броне, и он читал наизусть Шолом-Алейхема. В другом танке, тоже прикованный, сидел раввин, в черной шляпе, с длинной смоляной бородой, и читал нараспев Тору, в блиндажах, под накатом бревен, сидели другие евреи – хирурги, фармацевты, урологи, дантисты – все, кто был причастен к покушению на вождей. Мне почему-то не было их жаль. Я верил Лаврентию Берии, что передо мной людоеды, верил в еврейский заговор.

Поодаль, на бетонном отрезке аэродромной полосы, стоял штурмовик «Пе-2», и в кабине пилота сидел закованный по рукам и ногам молодой человек, который, как только нас увидел, стал биться внутри, стучать и что-то выкрикивать. Берия залез на крыло и приоткрыл кабину. Молодой человек кричал, что он не еврей, не раввин и не врач, а обыкновенный русский воришка, которого загребли по ошибке, когда он «чистил» квартиру богатого еврейского аптекаря, и по дури и тупости следователей пропустили по «делу врачей». Берия засмеялся и сказал, что мы – интернационалисты, не делим людей по национальной принадлежности. А если он действительно настоящий вор, пусть украдет самолет и улетит отсюда к едрене фене.

Тогда несчастный зэк обратился ко мне. Умолял, чтобы я его пощадил, говорил, что дома у него старушка-мать, что его ждет невеста, и если он врет, то ему «век воли не видать». Я попросил Берию отпустить его, но Лаврентий посмотрел на меня сквозь пенсне так, как только он один мог смотреть, и сказал, что он – не изверг, не враг народа, и если я хочу спасти лгуна и преступника, то могу поменяться с ним местами. Мне нечего было сказать, я сел на свое сиденье в машину, и мы уехали.

С железной вышки в подзорную трубу с затемненной оптикой мы с Берией наблюдали взрыв, как будто в пустыню упал метеорит, и на месте падения стал вырастать огромный белый купол, похожий на храм Соломона. Я с ужасом представлял, как тот несчастный воришка ослеплен в самолетной кабине, ударная волна ломает крылья и стабилизатор, страшный жар оплавляет пуленепробиваемое стекло и стальные лопасти, гамма-лучи пронзают его обожженное тело, и каждая кровинка умирает, свертывается, и он беззвучно кричит.

Поисковые группы проникли в глубь взорванной горы и опять не обнаружили Болт Мира. Огорченный Берия распорядился перенести испытания на Новую Землю. Перед отлетом из Семипалатинска он предложил мне посетить медицинский радиологический центр, куда доста-

вили подвергнутых взрыву людей. Мы в халатах и масках ходили по кафельным палатам, где на полу лежали убитые, обгорелые, в страшных волдырях, с оторванными руками и вытекшими глазами врачи. Все они были мертвы. В одном я узнал раввина с опаленной бородой, в обгорелой, приставшей к черепу шляпе. Врач повел нас в отдельную палату, где находился единственный уцелевший от взрыва. Это был тот самый воришка. Вместо лица у него был лиловый хлюпающий волдырь. Пальцы рук сгорели до костей. Голое тело было в клетчатых ожогах – так отпечатались на нем решетчатая кабина самолета. Но он был жив, слабо шевелился, и из него текла жидкость.

С тех пор прошло много времени. Не стало Берии. Меня сделали академиком, трижды Героем. Но я не мог забыть того воришку, которого не спас, не пожелал поменяться с ним местами. Это определило мое мировоззрение. Я оставил физику и стал правозащитником. Не мог работать на систему, в основании которой находятся обугленные терапевты, поджаренные раввины, испеченные дантисты и окулисты. Не мог защищать общественный строй, который зиждется на прикованном в кабине самолета человеке, поджаренном, словно курица-гриль. Он мне являлся, не отпускал меня. Я стал религиозным, поверил в Господа, просил у него прощения за мой страшный грех, погубивший того невинного воришку. Но прощения не было.

Но совсем недавно от случайного человека я узнал, что тот воришка жив. Ему залечили ожоги, сделали многократную пересадку спинного мозга, пластическую операцию лица. Оставили в качестве живого экспоната в радиологическом центре на полигоне Семипалатинска. Но он стал мутировать. У него изменились природные функции, стали появляться новые. Он сделался прорицателем, ясновидцем и, говорят, в одной из взорванных гор обнаружил Болт Мира, до которого не докопались поисковые группы Берии. Он и по сей день остается в казахстанской пустыне.

Отче, я скоро умру. Лена, моя ненаглядная, хочет, чтобы поскорей моим именем назвали проспект, повесили плиту с моим барельефом, и она каждый день могла бы класть цветы и оплакивать меня. У нее любящее, религиозное сердце. Я несколько раз пытался уехать тайком в Семипалатинск, чтобы найти этого воришку, покаяться перед ним, испросить у него прощения. Но Лена и дня не может прожить без меня. Каждый раз учиняла погоню. Меня ловили, насильственно кормили и запирали, иногда в Москве, иногда в Нижнем Новгороде.

Отче, у меня к вам последняя просьба. Поезжайте в Семипалатинск, найдите мутанта, расскажите мою историю и попросите за меня прощения. Теперь судьба человечества находится в его руках. Земная ось искривилась под тяжестью злодеяний. Она может сломаться, и тогда мир погибнет. Только он один может спасти заблудшее человечество, сберечь многострадальную землю. Пусть он проникнет в середину заветной горы и повернет Болт Мира на пол-оборота. Тем самым он восстановит равновесие мироздания, спасет род людской, который так страшно, в моем лице, с ним поступил. Обещаете, отче?

Белосельцев кивнул. Они сидели за столом бизнес-клуба, и жена Академика подходила, блестя кошачьими злыми глазами, раскуривала сигарету, прицеливалась в оттопыренное, по-детски прозрачное ухо мужа.

– Нам пора, дорогой. Не забыл, что нас ждет Раиса Максимовна?

Академик задрожал, посмотрел на нее умоляюще, слабо поднялся и ушел под восторженные аплодисменты гостей, так и не вынув из-за пазухи малиновую салфетку. Белосельцев смотрел ему вслед, был готов разрыдаться.

– Ну как, Виктор Андреевич, я ведь говорил, что вы друг другу понравитесь. Большие умы всегда друг друга отыщут, – Ухов, чуть пьяный, с небрежной светской улыбкой склонился к Белосельцеву, довольный ходом вечера, настроением гостей, обилием явных и тайных договоров, которые заключили между собой будущие миллиардеры. – А теперь – культурная программа. Сюрприз. Специально для нас доставлен из Экваториальной Африки.

Ухов хлопнул в ладоши. Тут же под потолком загорелись светильники, закрутились лучистые лампы. Озарили невысокий подиум, на который под грохот раскаленной музыки вышла во всей красе необъятно огромная голая негритянка. Заулыбалась белоснежным ртом. Зачмокала красным, как арбуз, языком. Заколыхала широченными, как черные тазы, бедрами. Голые пятки вытанцовывали племенной ритуальный танец. В складках живота блеснул пот. Грудь, как две чугунные двухпудовые гири, бились одна о другую. Руки в браслетах летали над головой, словно две стремительные разноцветные птицы вились над гнездом из черных конских волос.

Белосельцев поднялся, незаметно вышел. Наткнулся у порога на оброненную малиновую салфетку.

Глава пятая

Академик в том виде, в каком предстал Белосельцеву, не мог быть Демиургом. Но Демиург был где-то рядом, не показываясь Белосельцеву, следил за ним. Погружаясь в мир заговора в поисках Демиурга, Белосельцев сталкивался со множеством персонажей, каждый из которых, имея внешний человеческий облик, на самом деле являлся машиной, прибором, оружием. Среди этой торжествующей, наступающей повсюду нежити оставались живые, теплые, милые сердцу люди. Мама, любимая женщина Маша, сердечный друг Парамонов. Парамоша, как называл его Белосельцев, писатель, наивный, красочный, восторженный идеалист, не склонный к аналитике романтик, знавший о жизни нечто недоступное Белосельцеву. К нему, к Парамоше, направил свои стопы Белосельцев, назначив свидание в ресторане литературного клуба.

Парамонов встретил его на крыльце клуба, построенного в стиле ложной готики, как и несколько других московских домов, словно в городе тайно жил средневековый рыцарь, возвел среди ампирных особняков и доходных домов свои игрушечные немецкие замки. Парамонов был возбужден, шумлив. Сквозь ворот рубахи были видны красные пятна волнения. Белосельцев почувствовал винное дыхание друга.

– Что ты полз как черепаха! Я тут, брат, успел без тебя причаститься!

Они уселись в ресторанном зале, где под дубовыми сводами тускло, похожая на глыбу пыльного желтоватого льда, светила люстра. В витражное стрельчатое окно проливалось красно-золотое вечернее солнце. Наполненный зал гудел, шелестел, звенел хрусталем и фарфором, звуками рояля. Имел необычный, не свойственный ему, воспаленный и тревожный вид. Если прежде клуб литераторов, который иногда посещал Белосельцев, казался старомодно чопорным или бестолково богемным, был наполнен литературными знаменитостями и театральными звездами, отделен от улицы незримой преградой избранности и элитарности, то теперь зал наполняла новая хамоватая публика, денежная, сытая, упитанная, явившаяся поглазеть на литературных гениев, как приходят посетить зоосад. Торговцы, дельцы, коммерсанты сидели в тесных застольях, жадно и много пили, ели, победно, словно прицениваясь, оглядывали дубовые панели, витражи, хрустальную люстру, пухленьких официанток. Разом вскидывали хмельные головы, когда в зал входил какой-нибудь писатель. Громко спрашивали: «А это кто такой?»

Над входом в ресторан, на дубовой перекладине, подобно птицам на ветке, как всегда в это время дня, долгие годы подряд, сидели две гарпии-критикессы. Вытягивали пупырчатые шеи, испачканные пометом клювы. Подымали общипанные нечистоплотные хвосты, вращая фиолетовыми воспаленными гузками. Зорко следили за входящими литераторами, норовя брызнуть на каждого белой едкой кашицей. Их присутствие было необходимым условием литературного процесса, придавало ему черты античности. Официанты, долгое время работающие среди писательской публики, понимали роль гарпий. Подкармливали их, время от времени кидали вверх обглоданные кости, остатки жеваных котлет и гарнира. Птицы ловко хватали добычу загнутыми, как у грифа, клювами. Жадно проглатывали, двигая кадыками. Пополняли постоянно опустошаемые желудки.

Белосельцев пил с Парамоновым теплую водку, быстро пьянел. Открывался другу в своих сомнениях и предчувствиях. Говорил о нависшей опасности, о близкой катастрофе, о предстоящей всем милым и близким гибели.

– Да-да! – отвечал Парамонов, почти не слушая его, а слушая свой хмель, возбуждение, бушующие в нем мысли и волнения. – Ты прав, мы все в беде! Я не мог работать, не мог сесть за стол, цепенел от тоски! Но я победил тоску! Я назвал тоску по имени, указал на нее пальцем и победил! Мой новый московский роман расколдует нас всех! Расколдует Москву, Россию, и тебя расколдует, Витя, милый мой, закадычный друг! Поверь, там будут открытия!

Белосельцев слушал друга, водил опьяневшими глазами по смуглым дубовым стенам, впитавшим за долгие годы ароматы шашлыков и солений, винные испарения, дым табака. В вышине, под хрустальной затуманенной люстрой, носились духи исчезнувшей литературной Москвы. Как на картинах Шагала, парили, обнявшись, раздувая фалды, помахивая полными ветра рукавами, Булгаков, Олеша. Взявшись за руки, водили хоровод вокруг хрустального костровища Шолохов, Симонов, Алексей Толстой, что-то беззвучно вещали, то ли ссорились, то ли славили друг друга. Прижавшись теменем к дубовому потолку, словно оторвавшийся воздушный шарик, висел печальный Юрий Трифонов, и снизу были видны его подошвы, стертые на лестницах Дома на набережной. Лежа спинами на потолке, как в невесомости, Есенин, Мандельштам и Павел Васильев читали друг другу стихи, написанные ими уже после смерти. И множество писательских душ, признанных и отвергнутых, награжденных орденами и премиями или безвестных неудачников, измученных непониманием, беззвучно сталкивались, кичились, роптали, силились о чем-то сказать, в чем-то запоздало покаяться, о чем-то предостеречь. Внизу живые плотоядные люди чокались, чавкали, обсасывали косточки, заливали скатерти вином. Пересказывали друг другу литературные сплетни, исходили наветами, лстивыми восхвалениями, изрекали завистливые угрозы и глупую похвальбу, чтобы, в свою очередь, сбросить усталую плоть, превратиться в духов, вознестись к хрустальной люстре, пополнить бессловесное туманное сонмище.

– Мои московские новеллы – как картины в золоченых рамах! Может быть, Босх или Брейгель! В сумрачной ржавчине, в зеленоватом тлении, в голубом трупном свете копошатся нетопыри, нелюди. Омерзительные долгоносики, птицесвины, волкожабы, пучеглазые и прозорливые химеры, которые двигаются по оскверненной земле, умертвляют, разрывают могилы, выклеывают глаза казненным. Но из всей этой жути, из нечистот, из чешуйчатых тварей подземного мира медленно возносится, золотится, одолевает плесень и гниль – божественное свечение! Иная сущность, иная лучезарная энергия! Выше, чудесней, и вот, представь себе, в небесах, неподвластный тьме, несется Ангел с лазурными крыльями, яростный, ослепительный!

Парамонов, весь в розовых пятнах волнения, выпил водку, задохнувшись от горечи, от своих мучительных и сладостных слов. Доверял другу сокровенное, еще не написанное, то, что, быть может, никогда не увидит бумаги, а изольется мгновенным возбуждением и канет, побежденное тоской и унынием. Белосельцев не мешал изливаниям Парамоши, не веря в их жизненность. Они никак не соотносились с жутким наступлением тьмы, с приближением потопа, который накроет их всех поднебесной черной волной.

В зал вошел известный, маститый писатель, одутловатый и грузный, отягченный величием, множеством премий за серию романов из советской истории. Сибиряк, чьи книги о Второй мировой и послевоенном восстании из пепла нарекались советским эпосом. Их изучали в школе, по ним ставились фильмы. Писатель остановился в дверях, высокомерно рассматривая посетителей, ловя на себе завистливые и подобострастные взгляды. Слышал, как за столиком толстосумов называют его по имени, перечисляют его титулы и звания.

Две гарпии на дубовой ветке сразу отметили его появление.

– Натали, – сказала одна. – Он вошел. Приготовься.

– Ах, Алла, – раздраженно отозвалась другая. – Не надо мне говорить. Я сама все вижу.

Она поудобней устроилась. Крепче вцепилась в ветку чешуйчатыми лапами с острыми загнутыми когтями. Навесила над писателем лиловую, лысую гузку. Растворила в ней влажное, с упругим кольцом, отверстие. С неприятным чмокающим звуком метко брызнула бело-желтой гущей, угодив на пиджак писателя, пометив его своим раздражением. Писатель постоял в дверях, повернулся и тяжело зашагал прочь, неся на груди едко пахнущую, разъедающую пиджак эмблему.

– Ты ведь знаешь, мне всегда удавались рассказы, – продолжал Парамонов. – И теперь в романе каждая глава, – как икона, житие измученного четвертованного народа, который, умирая, смотрит в небо на своего Бога и Ангела! Сегодня художник имеет дело с распадом, с чумным бараком, с миазмами. Моя эстетика опирается на умирающее бытие. Москва в золотой чешуе с обитателями тухлых подвалов, ночлежек, притонов, как бред, в котором проносятся несчастные безумцы, держа под мышкой собственные головы, перескакивая через своих изнасилованных жен и отравленных детей, ударяясь расквашенными лицами о колонны Большого театра. Мой герой чем-то похож на тебя! Добровольно идет в распад, в эпидемию, дышит ядом смертоносных болезней. Как спасатель в четвертом чернобыльском блоке, в марлевой маске, с тонким прутиком дозиметра – на смерть!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.